

Карел Михал

Бабайки

на

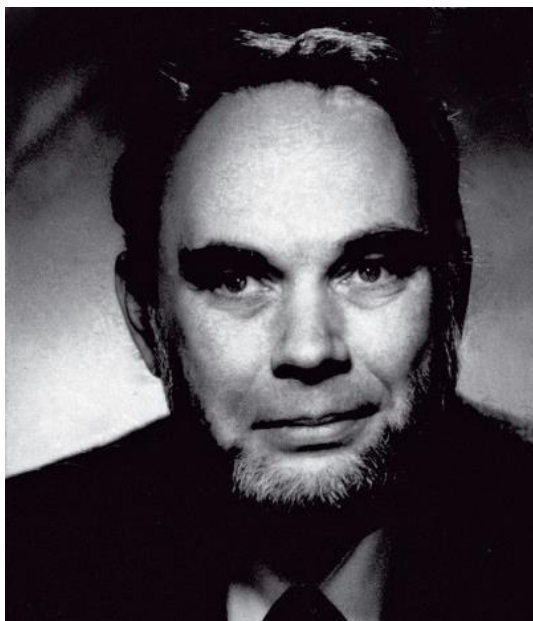
каждый день

2021

Карел Михал

**БАБАЙКИ
НА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ**

Паровая типолитографія А. А. Лапудева
Москва
Георгіевскій переулокъ, домъ 19
2021



Карел Михал. Бабайки на каждый день. — Москва, Паровая типолиитография А. А. Лапудева, 2021 — 257 с.

Впервые под одной обложкой все русские переводы произведений известного чешского автора.

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения, извлечения прибыли и т. п. Все материалы получены из открытых источников.

© К. Михал, текст, 2021

© З. Почоп, текст, 2023

СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

— Дайте закурить, — услышал бухгалтер Микулашек и попятился. Вот он, этот пресловутый воинственный клич ночных красоток и предприимчивых молодчиков, которым ничего не стоит стукнуть вас завёрнутым в носовой платок булыжником и отобрать часы.

Осторожность в данном случае оказалась излишней. Днём опасаться было нечего, но Микулашек опасался из принципа.

Обратившийся к нему старичок был невысокого роста, весь обросший и грязный, — такими нередко бывают старички. Словом, нечто среднее между беженцем и Краконошем¹. Я говорю «бывают», а не «бывали», потому что такие старички сохранились и до сих пор. Они ходят в очень стоптанных башмаках, а за спиной носят мешки, набитые бог знает чем. Побудительные мотивы их поступков до сих пор не исследованы.

Бухгалтер по зарплате Микулашек опустил руку в карман и дал старичку сигарету. Потом ему стало как-то неловко и он вынул ещё одну. Старичок засунул первую сигарету в усы, вторую под шапку, произнёс: «Премного благодарен» — и прикурил у Микулашека.

— Хороший вы человек, — сказал он одобрительно.

Микулашек пробормотал в ответ что-то неопределённое, как мы частенько делаем, когда нам приятно.

— Хороший человек, — продолжал старичок в том же духе. — Я хочу заключить с вами сделку.

— Не нуждаюсь, — сказал бухгалтер. Сделками он принципиально не занимался. Боялся тюрьмы, а кроме того, не замечал за собой таланта к торговле.

— Хорошую сделку, — наседали старичок. — За двадцатку.

¹ Краконош — персонаж из чешского фольклора.

— Не интересуюсь, — защищался бухгалтер. Ему жаль было времени. Он шёл как раз в кафе-автомат, где обычно после работы ел фасоль. Не то чтобы он так уж любил фасоль, но она стоила дёшево и порция была изрядная. И то и другое его устраивало, поскольку бухгалтер Микулашек был человеком далеко не состоятельным.

Он не содержал танцовщицы, что издавна приводят как основательную причину материальных затруднений, и не пропивал своих денег. Просто у него их не было, несмотря на то что жил он честно или, может быть, как раз поэтому. Бухгалтеры по зарплате получают немного. Это угнетало Микулашека, угнетали его и другие обстоятельства, связанные с его работой. В детстве вы хотели быть капитанами, машинистами, кондитерами или трубочистами. Если бы какой-нибудь мальчик захотел стать бухгалтером, к нему бы вызвали врача. И только в процессе превращения из ребёнка во взрослого вы столкнулись с досадным фактом, что трубочистами и машинистами могут быть не все. И такого количества капитанов тоже не требуется.

Итак, Микулашек был бухгалтером. Он умел только начислять зарплату, и поэтому ничего другого ему не оставалось. Ручным трудом он вряд ли смог бы себя прокормить, потому что от рождения был левшой. И в остальном перспективы у него были не очень радостными. Бухгалтер по зарплате не может быть никем другим, кроме как бухгалтером по зарплате или в крайнем случае старшим бухгалтером, если он достаточно старый и заслуженный. Ни старым, ни заслуженным Микулашек пока ещё не был, а проявлять инициативу не решался. Любая инициатива в сфере начисления зарплаты пахнет уголовным кодексом. Микулашек всё это отлично знал, и жилось ему неважно, потому что он был самым обыкновенным Микулашеком и ничем особенным не отличался. В остальном же он был добрый человек. Но от этого ему было ещё хуже, так как все это знали и, следовательно, никто его не боялся.

Увидев, что даже такой старикашка пытается взять его на удочку, он всерьёз рассердился. На свою беду, он знал, какой лёгкой добычей может стать.

— За двадцатку, — клянчил старичок. — Вам ведь хорошо живётся, что вам стоит помочь бедному человеку?

— Мне плохо живётся, — со злостью сказал бухгалтер.

— А почему же вам плохо живётся?

— А потому, что я ничего особенного не умею, — сказал бухгалтер разочарованно, как всегда, когда обсуждались условия его существования.

— Хи-хи, — засмеялся старичок. — Не умеете? А я вот умею. И что из этого? Ничего!

— А что же вы умеете? — спросил Микулашек просто из вежливости. Старичок уже начинал ему надоедать.

— А вот что... — Старичок понизил голос до шёпота. — Я умею превращаться в медведя. Ну да!

Микулашек отступил ещё на шаг, решив, что в случае необходимости стукнет старика портфелем и передаст его врачу соответствующей специальности, который, вне всякого сомнения, уже ищет где-нибудь поблизости сбежавшего пациента.

Но старичок вёл себя миролюбиво.

— Ну да, в медведя. Но пользы от этого ни на грош. Вот беда, правда?

— Да... Так до свидания, — выдавал из себя бухгалтер и перешёл на другую сторону улицы. Старичок семенил за ним с упорством, достойным лучшего применения.

— Послушайте, молодой человек, неужели это вас не интересует?

— Интересует, ещё бы, меня это чрезвычайно интересует, — вздохнул бухгалтер, втайне надеясь, что не все сумасшедшие буйны.

— Знаете, — тархтел старик, держа бухгалтера за рукав, это совсем не так уж трудно. Когда мы в первую мировую стояли в Буковине...

— Прощайте, — сказал бухгалтер.

— ...так там одного повесить собирались, — продолжал назойливый старичок безмятежно и в полной уверенности, что бухгалтер не отгрызёт себе рукав, как лиса — лапу, попавшую в капкан. — Его собирались повесить. Такой грязный старичишка был.

Бухгалтер с тоской подумал, что старику явно не хватает самокритичности.

— Я был тогда капралом, а капрал — это царь и бог! сбивчиво рассказывал старик. — И я выпустил его через чёрный ход. А он как раз и умел это самое — превращаться в медведя. И знаете, он, дед этот, научил и меня за то, что я его выпустил. Он бы и сам превратился, чтоб спастись, но не мог, у него не хватало как раз нужного пальца. Ему его где-то оторвало. Этот перстень, который он мне дал, — старичок поднял невымытый палец с широким медным кольцом, — надевается как раз на средний палец правой руки, и его поворачивают трижды влево, дважды вправо. А эта чёрточка, — Микулашек увидел на кольце глубокую поперечную борозду, — эта чёрточка должна оказаться на ладони. Совсем нетрудно, я сразу запомнил. А потом дважды влево, трижды вправо — и всё становится, как было. Ну, а если перепутаете, тогда кольцо надо снять, снова надеть и всё повторить сначала, ничего страшного не случится. Здесь я, понятно, не могу вам показать, здесь народу много. Дома сами попробуете. Нате.

Старичок схватил Микулашека за руку, надел перстень ему на палец и медленно пошёл прочь. Бухгалтер какое-то мгновение с ужасом разглядывал широкое медное кольцо. Потом побежал и схватил старичка за ветхое, латаное пальто. Старик обернул к нему морщинистое лицо и пошевелил усами.

— Что такое? — пробормотал он. — Трижды влево, дважды вправо, чертой к ладони, и обратно — дважды влево, трижды вправо, чертой к тыльной стороне руки. Ну!

— Послушайте, — сопротивлялся Микулашек, — я не могу его взять. Оно мне не нужно, заберите его!

Старичок отстранил его руку.

— Берите, берите. А если дела у вас плохи, ничего мне платить не надо. Это всё равно вещь бесполезная, тем более для меня, старого человека. Вы моложе, может, вам оно пригодится. Ну, выкладывайте двадцать крон, — добавил он быстро, не оставляя своей жертве времени на раздумье.

Делать было нечего, и Микулашек дал старику деньги. Тот спрятал их под шапку. Микулашек пришёл к выводу, что для сумасшедшего старик слишком хитёр, и, перестав его бо-

яться, решил заставить старика выдумать что-нибудь ещё за эти же двадцать крон. Изобразив на лице полное доверие, он спросил:

— А что тогда будет с одеждой?

— Она превратится в шкуру, не бойтесь.

— А если бы я был в плавках?

— Тогда у вас будет летняя шерсть. Ну, идите, я всё равно больше ничего не знаю. Попробуйте и сами увидите. Но пользы от этого никакой, имейте в виду. Прощайте, прощайте, очень вам благодарен.

В тот день Микулашек так и не поел фасоли. Он был зол и не хотел больше тратиться. Придя домой, он заглянул через окно в кухню, дома ли хозяйка, прошёл в свою комнату, сел и положил ноги на стол. Закурив сигарету, он аккуратно вложил обгорелую спичку обратно в коробок и начал рассматривать свою сомнительную покупку.

Перстень был потёртый, шириной около сантиметра; с какими-то неразборчивыми буквами на внутренней стороне. Шрифт был не латинский, а других шрифтов Микулашек не знал. Фантазия старичка немного озадачила его. О волках-оборотнях он читал, но бывают ли оборотни-медведи — не знал. Насколько ему было известно, способность человека к перевоплощению ограничена лишь превращением в волка. Он решил, что старик черпал свои выдумки из каких-то неведомых ему источников.

— Значит, в медведя, — сердился он про себя. — А почему не в навозного жука, который потом превратится в золотаря? Глупости!

Он опустил перстень в ящик стола, бросил на него старую газету и предался грустным размышлениям о том, как легко удаётся некоторым людям заработать двадцать крон. Но перстень не давал ему покоя. Он снова вынул его из ящика, с омерзением осмотрел и надел на средний палец правой руки. Затем растерянно поднялся и встал перед треснутым зеркалом. Он проделывал всё это, понимая, что поступает как законченный болван, но может себе это позволить, поскольку в комнате больше никого нет.

— Трижды влево, дважды вправо, — повторил он и повернул перстень согласно инструкции.

Потом посмотрел в зеркало.

Оттуда на него взглянули жёлто-коричневые, злобные глазки. Он открыл от изумления пасть, и из угла её вытек ручеёк слюны.

— Грр, — зарычал он испуганно, сделал два шага назад и плюхнулся на стул. Стул треснул под его весом, и бухгалтер упал на потёртый коврик, проведя когтями несколько глубоких борозд по краю стола.

Когда ощущение ужаса прошло, он сообразил, что превратиться снова в человека гораздо сложнее. Когти второй лапы скользили по гладкому металлу кольца, так что не оставалось ничего другого, как сунуть всю лапу в пасть и повернуть перстень зубами.

Бухгалтер Микулашек не спал всю ночь. Он радовался, что обладает тем, чего нет у других, а это, как известно, в немалой степени свойственно человеческому характеру. Однако на работу он пришёл вовремя, так как чётко разграничивал служебные обязанности и личные развлечения.

Перед канцелярией его уже поджидал пан Валента. Десятник, прошу прощения — старший мастер.

— Что здесь за бордель? — сказал он громко. — Надрываешься тут целый день, а служащие вместо работы дурака валяют.

— Пройдите, пан Валента, — учтиво сказал Микулашек, открыл кабинет и пропустил старшего мастера вперёд. Валента остановился в дверях. Для перебранки ему нужна была аудитория.

— Ну так что, получим мы сверхурочные или не получим?

Бухгалтер проскользнул под его рукой и заглянул в свои бумаги.

— К сожалению, нет, — извинился он, — на сверхурочные не было распоряжения.

— Как же так? — Валента угрожающе втянул голову в плечи.

— А так. Разрешения не было, следовательно, не оплатят.

— А почему?

— Извините, не знаю.

— А кто это должен знать, чёрт побери? — повысил Валента голос. Обмен мнениями на высоких нотах всегда вливал в него новые силы.

— Начальник строительства. Я ведь только бухгалтер.

Такой несерьёзный обходной манёвр справедливо возмутил Валенту. Орать на бухгалтера Микулашека было его излюбленным развлечением, и он не терпел, если кто-нибудь портил ему это удовольствие. В душе он ничего плохого не имел в виду, но крик был для него такой же жизненной необходимостью, как дафнии для аквариумных рыбок. Поскольку, кроме Микулашека, никто больше не спускал Валенте его выходок, старшему мастеру было очень нелегко переносить увёртки бухгалтера.

— Ну, так получим мы или не получим?

— К сожалению, — пожал плечами Микулашек. Этим он дал понять, что аудиенция окончена и начинается рабочий день.

Старший мастер подскочил к столу.

— Так что же это вы тут болтаете? Найдите способ заплатить побыстрее. А то сваливаете друг на друга...

Бухгалтер Микулашек спрятался за стол. К крику он привык, но бессонная ночь давала себя знать. Пошаливали нервы. Он боялся, что в любой момент может расплакаться.

— Не кричите на меня, — попросил он срывающимся голосом.

Валента в душе затрепетал от счастья. Как известно, бляение козлёнка возбуждает льва.

— Вы мне будете объяснять, что делать? Вы? Извольте дать мне, что положено, или я сделаю из этой вашей конуры отрывной календарь!

Микулашек скорчился за своим столом. Он решил любой ценой воспрепятствовать исполнению угрозы.

— Поосторожнее, — предупредил он, — не то...

— Не то что? — заорал старший мастер и стукнул кулаком по столу.

Бухгалтеру показалось, что ещё минута — и старший мастер проглотит его.

— Трижды влево, дважды вправо, — повторил он про себя. — Грр, — проревел он вслед за этим, поднялся во весь свой рост и оскалил желтоватые клыки.

Старший мастер вытянул перед собой руки жестом церковного сторожа, который ни с того ни с сего увидел живого дьявола. Из горла его вырвался какой-то сдавленный писк. Размахивая руками и пошатываясь, он вышел в коридор. Потом хлопнул дверью и помчался вниз, визжа, как придушенный заяц.

Пока его визг замирал вдали, бухгалтер, чтобы поспеть с превращением, от усердия обслюнявил всю лапу. Он заметил ещё раньше, что любое волнение вызывает в его медвежьём организме слишком обильное слюноотделение, и это ему порядком мешало. Не успел он сесть за стол и погрузиться в чтение бумаг, как в кабинет ворвался начальник строительства.

— Добрый день, товарищ инженер, — вежливо поздоровался немного побледневший Микулашек. Начальник строительства игнорировал приветствие.

— Что это за номер вы откололи с Валентой? — спросил он недовольным тоном.

— Я? С Валентой?

— Разумеется, вы, а не я. Валента влетел ко мне и сказал, будто вы на него ревели, как медведь. А потом упал. Теперь ему вызывают скорую помощь.

— Я...

— Конец! Больше этого не будет! Я должен план выполнять, а вы тут так орёте на человека, что он теряет сознание. Где я теперь возьму мастера? Может, вы будете за него работать? Подождите, мы ещё поговорим с вами в управлении!

Бум, бум, трах!

Сначала раздались удары по столу, потом хлопнула дверь.

На следующий день Микулашека вызвали в дирекцию, где он получил выговор за плохое обращение с людьми.

— Как это случилось? — спросил потихоньку старенький старший бухгалтер. — Ты его выругал? А что же ты ему сказал?

— Валента был пьян, — подло заявил Микулашек, почувствовав при этом, что он внутренне растёт.

Но к вечеру его гордость уступила место сомнениям. Он принадлежал к числу практичных людей. Превращаться в медведя — несомненно, выдающаяся способность. Но быть медведем лишь для самого себя, конечно, горько. Всякая способность должна быть оценена, иначе она не греет, а Микулашек верил исключительно в земное признание. Бухгалтеры, склонные рассуждать о том, что их земные заслуги будут признаны лишь на небе, как правило, умирают молодыми. В одном Микулашек был уверен: такую способность на его теперешней службе оценить по достоинству не могут. Это волшебство, искусство, трюк. Её, эту способность, можно использовать так, чтобы она приносила плоды.

Микулашек верил, что находится на правильном пути.

Он взял день в счёт отпуска и с самого утра отправился в Главное управление цирков, надеясь встретить там только артистов.

Отдел кадров помещался на первом этаже жилого дома, и уже одно это несколько смутило Микулашека. Он нигде не увидел ни карусели с лошадками, ни русалки, а человек за столом разочаровал его окончательно. Он подсознательно ожидал увидеть настоящего циркового артиста, в блестящем костюме, с цветной перевязью на животе. У человека за столом не было цветной перевязи на животе. Да и живота у него не было. За столом сидел юрист.

— Я, — Микулашек растерянно мямля шляпу, — если вас интересует...

— Нам нужны жонглёры и музыканты, — сказал человек за столом. — Вы играете?

— Нет, не играю, — ответил бухгалтер. — Я... я кое-что умею, — наивно объяснил он.

— Ну хорошо, а что именно?

— Я умею превращаться в медведя.

— Серьёзно? А как вы это делаете?

— А просто. Перевоплощаюсь, и всё.

— Прямо здесь?

— Можно и здесь. Где угодно, — гордо сказал бухгалтер. Он был уверен, что человек за столом такого не умеет.

— Гм, — человек за столом потёр подбородок, — в медведя. В большого бурого медведя?

— Именно так, — радостно согласился бухгалтер. — В большого бурого медведя.

Преданным взглядом он посмотрел на человека за столом, который так легко его понял. Человек за столом слегка улыбнулся и стал рыться в ящике.

— Подождите, пожалуйста, в приёмной, — процедил он сквозь зубы. — Только никуда не уходите, я вас позову.

Микулашек понял.

— Я не сумасшедший, — попытался он защитить себя. — Я в самом деле могу это сделать.

— Ну, разумеется, вы не сумасшедший, конечно, нет, но будьте так любезны подождать в приёмной, у меня срочный телефонный разговор. Потом мы обо всём поговорим, вы мне всё покажете, мы и других позовём, чтоб тоже посмотрели...

— Одну минуточку, — сказал бухгалтер, и необычайно серьёзное выражение его лица заставило юриста выпустить из рук массивное пресс-папье. — Я вам сейчас всё покажу, только не бойтесь.

Он повернул перстень и изобразил на морде добродушную улыбку, чтоб не напугать юриста. «Отдел кадров» юркнул под стол, как ласка.

Через мгновение Микулашек, скромно улыбаясь, снова мял поля своей шляпы. Кадровик вернулся в своё кресло, и ему удалось сделать вид, что он не знает, как выглядит стол снизу.

— Ну, хорошо, — сказал он, подумав. — С этим вопрос ясен. А что вы умеете?

— Но ведь...

— Знаю. Это мне понятно. Но что вы умеете как медведь?

Микулашек остолбенел.

— Поймите меня, пожалуйста, — постучал юрист карандашом по зубам. — Как человек вы умеете превращаться в медведя. Хорошо, допустим. Но, чтобы предложить публике высококачественное, действительно высококачественное развлечение — вы понимаете, а не какой-нибудь там невиданный, а на самом деле ничем не выдающийся трюк, вы должны также и будучи медведем показать что-нибудь исключительное, доступное не каждому животному. Ну, например, танцы на шаре, упражнения на турнике, что-нибудь в таком духе. Вы это умеете?

— Нет, не умею, — ответил Микулашек уныло. Он и на полу танцевать не умел, тем более на шаре.

— Чем вы занимаетесь в обычной жизни?

— Я бухгалтер.

— Ну, это вряд ли что-нибудь даст. Животные-математики уже приелись. Послушайте, а не сумели бы вы балансировать с бутылкой на носу?

— Извините, я никогда не пробовал.

— М-да, это вы вряд ли сумеете, это требует тренировки, мой друг, тренировки. Дело в том, что мы теперь хотим, мы должны показывать нашему новому, нашему требовательному зрителю настоящее искусство, а не какие-то ярмарочные трюки, как, например, ваш. Иначе мы уйдём в нём вкус. Цирк, мой милый, — это вовсе не значит ахать, раскрыв от изумления рот. Это восхищение тяжёлым и упорным трудом наших артистов, которые... которые...

Юрист подыскивал слова, с отчаянием вспоминая, как всё это выглядело, когда он в восьмилетнем возрасте в последний раз посетил цирк. Потом он умолк. В комнате уже никого не было.

Перед домом бухгалтер поплевал на сине-белую доску объявлений, достал из кармана чернильный карандаш и написал наискось аккуратным почерком: «Цирк — это жульничество». Потом дописал: «Тьфу» — и два раза старательно подчёркнул. Он понял, что с этими шутами не сможет поймать свою синюю птицу.

В магазине «Родник» он купил банку мёду, дома поставил её на пол и заперся. Потом опустил штору, сел под стол и превратился в медведя. Зубами сорвал крышку с банки, погладил себя лапой по брюху (он видел, как это делают медведи) и поднёс банку к пасти.

Густой мёд вытекал из банки медленно. Микулашек хлопал лапой по дну, мёд коварно выполз за край банки, тяжёлой струёй потёк по лапам к локтям и в конце концов залил светлую шерсть на груди и брюхе. Бухгалтер вскрикнул в отчаянии. Минуту он безнадежно пытался облизать измазанный мех, но потом перевоплотился и побежал к умывальнику спасать костюм. Остатки мёда он выскреб ложкой, собрал в тарелку и, снова превратившись в медведя, аккуратно вылизал. Потом повертел перстень, сел к столу и, держа в руке карандаш, долго-долго глядел на литографический портрет Алоиса Ирасека².

— Занятно, — сказал приветливый человек в редакции журнала «Наука и жизнь». — «Вкусовые восприятия медведя». Вы физиолог?

— Я медведь, — ответил бухгалтер рассеянно, потому что в этот момент, посплюнув палец, устранил липкие пятна с лацкана пиджака.

— Гм, гм, — промычал вежливый человек, складывая рукопись аккуратной стопкой. — Это ничего, это роли не играет. А какой медведь? Для заголовка, знаете? Бурый?

— Да вроде бы, — скромно сказал бухгалтер. — На брюхе светлый, а вообще-то бурый.

Вежливый человек поднял брови и перелистал несколько страниц предложенной ему статьи. Микулашек смотрел на него, ощущая, что в эту самую минуту время окончательно остановилось.

— Бурый, — повторил он беспомощно, — совсем бурый.

— Мало ли что бывает бурым, — сказал вежливый человек и посмотрел поверх страниц рукописи на бухгалтера

² Алоис Ирасек (Alois Jirasek) (23.8.1851, Гронов, – 12.3.1930, Прага), чешский романист и поэт.

Микулашека. — Перестаньте лизать свой костюм. Где вы его видели? На воле? В клетке?

— Как бы вам это пояснить?..

— Говорите совершенно просто. Формулировки не так уж важны. Так где же вы его видели, а ну-ка? Не бойтесь!

На этот раз бухгалтер впервые не струсил и поэтому ответил полным предложением:

— Я видел его в зеркале.

— Если это так, — мило сказал вежливый человек, подавая ему рукопись, — если это действительно так, то это наверняка не был медведь. Это, извините, исключено. Медведи в зеркалах не живут. Им там, знаете ли, есть нечего. Почитайте Брэма.

— Мир плох и безотраден, — размышлял бухгалтер на обратном пути, — и, кроме того, совершенно абсурден. Я умею такое, чего никто другой не умеет, а люди либо не верят мне, либо отказываются удивляться. Наверное, всё дело в том, что они не чувствуют себя равными мне и потому завидуют моей исключительности. Но я этого так не оставлю. Раньше меня не боялся никто, а теперь испугался даже Валента, значит, что-то несомненно изменилось. Раньше сильнее были они и мне приходилось их бояться. Теперь они боятся меня, значит, наверняка теперь я сильнее. Медведь — это вам не что-нибудь. Медведь-владыка края, и его боится вся округа. Он терзает скот и всякое такое.

Но тут он почувствовал, что в его мыслях есть противоречие. Возможности медведя и положение бухгалтера — не самая удачная комбинация, и Микулашек почему-то не мог избавиться от мысли, что если бы он в качестве медведя растерзал корову, то в качестве бухгалтера его упекли бы в сумасшедший дом. Кроме того, он никак не мог решить для себя вопроса, что бы он стал делать с растерзанным животным. О том, что его можно употребить в пищу, он как-то не подумал.

Микулашек шёл по оживлённым улицам, опустив голову, погружённый в глубокие думы. В результате непривычно интенсивной душевной деятельности на его лице застыла дурацкая улыбка.

— Терзать скот, — размышлял он, — это, с одной стороны, пустая демонстрация, а с другой — жестокость. Это ни к чему. Однако пора что-то предпринять. Я должен во что бы то ни стало использовать свои возможности. Это самый большой шанс в моей жизни. Если я так ничего и не предприму, меня снова все будут пинать ногами до самой смерти.

Вообще-то его никто никогда не пинал, но, чтобы решиться на столь важный шаг, он должен был подстёгивать себя картинками своих прошлых страданий.

— До сих пор все со мной обращались, как с тряпкой, и я это терпел. Тогда я ещё не мог осознать своей исключительности, но теперь осознал. Теперь я знаю, что во мне есть, и я должен решиться. Дальше так продолжаться не может. Что делает общество? Общество отвергает мой талант и мои услуги, общество ими пренебрегает. А что сделаю я? Я просто пойду своим путём.

Эта мысль так взволновала его, что он несколько раз подпрыгнул на ходу и налетел на мусорщика, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

— Ты что, не видишь, болван, что я работаю? — деловито спросил мусорщик. Погружённому в видения бухгалтеру это вмешательство не понравилось.

— Я думаю о важных вещах, — сказал он грубо. — Плевать я хотел на ваш мусор.

Мусорщик не на шутку разозлился и перестал церемониться. В конце концов он заявил, что запихнёт бухгалтера в мусорный бак, и добавил ещё, каким образом это сделает. Бухгалтер испугался, но тут же вспомнил о своей силе и решил припугнуть мусорщика.

— А медведя вы смогли бы запихнуть в ваш бак?

— Что за глупости вы спрашиваете? — удивился мусорщик.

— Да так, — сказал бухгалтер, многозначительно улыбнувшись, и с триумфом продолжил свой путь, оставив противника в растерянности.

Мусорщик позвал другого мусорщика. Оба они очень удивлялись и вертели пальцами у лба. Им было ясно, что медведь в мусорном баке поместиться не может.

— Ага, — сказал бухгалтер про себя, — я показал свою силу, а людям как раз это и нужно. Сомнения в сторону! Ни с кем не миндальничать! Каждый сам должен знать, когда ему уйти с дороги. Это закон природы — выживает более сильный.

Воспоминание о законе даже в таком контексте несколько замедлило ход его рассуждений. Но вскоре он успокоился. Кто не боится мусорщика, не боится никаких законов. Поэтому он почувствовал себя очень сильным и уже не старался сдерживаться.

«Сильная личность живёт по своим собственным законам, это давно известно. Я был бы сумасшедшим, если бы позволил опутать себя предрассудками. Что представляет собой этот их закон? Балласт, отрепья, защита слабых. По отношению к себе у меня есть только одно право, и это право сильного. Право извлекать пользу из своей силы. Извлекать пользу... Да, именно так можно определить это право. Можно также сказать пользоваться. Это будет более мягко и правильно. Буду пользоваться», — решил он окончательно и бесповоротно.

Эта мысль показалась Микулашеку забавной. Он ещё никогда ничем таким не пользовался и очень обрадовался представившейся возможности. Вопрос о технических деталях он решил быстро.

— Воспользоваться я могу чем угодно. Лучше всего, конечно, чем-нибудь вполне транспортабельным, но при этом достаточно ценным. Золото? Нет. Его потом пришлось бы продать. Деньги? Ну конечно, я буду пользоваться деньгами, я добуду массу денег. А поскольку я медведь действия, я начну пользоваться сразу же. Кто рано встаёт, тому бог подаёт.

Микулашек свернул с боковой улицы на главный проспект, взволнованно принялся и вошёл через вертящуюся дверь в зал сберегательной кассы. Его никто не видел, все сидели спиной к двери.

— Добрый день, — поздоровался бухгалтер и превратился в медведя. Потом сделал несколько шагов вперёд. Для большего впечатления он потряс головой и зарычал, показывая, какой он страшный.

Первой взвизгнула старая бабка с хозяйственной сумкой. Она уронила сберкнижку и, застыв на месте, осенила себя крестным знамением. Двое или трое клиентов прижались к стенам. Кассир, как страус, спрятал голову под стол, а потом высунул из-под стола руку с револьвером. Медведь нежно шлёпнул его по руке. Кассир уронил оружие и, не покидая своего убежища, подул на руку, тихо радуясь, что избавился от необходимости сопротивляться. Насколько ему было известно, кассиры с медведями не сражаются.

Медведь просунул лапу в окошко и с немалым трудом потянул к себе пачку денег со стола кассира. Потом вторую. Потом ещё одну. Больше на столе денег не было. Медведь решил, что на первый раз хватит. Он получил, что хотел, и мог уйти.

Он отвернулся от окошка и остановился, нерешительно перебрасывая деньги из лапы в лапу. Впервые в жизни он испытал гложущую зависть к кенгуру. В человеческом обличье он не смог бы покинуть место преступления, в этом он был уверен, но в обличье медведя у него не было карманов, а лапы нужны были для обороны. Он попытался запихнуть одну пачку в пасть. Деньги были отвратительны на вкус, а кроме того, он не мог сунуть в набитую пасть лапу, чтобы повернуть зубами кольцо на пальце. Он хотел совершить обратное превращение где-нибудь неподалёку от вертящихся дверей, но теперь подумал, что, превратившись в человека, может подавиться большой пачкой денег во рту.

Минуту он растерянно переминался с лапы на лапу. Потом зажал две оставшиеся пачки под мышкой, грозно зарычал, насколько ему позволила набитая деньгами пасть, и ввалился в туалет.

Две пачки он вынул из-под мышки и положил на край унитаза, третью вытащил из пасти и вцепился зубами в кольцо на пальце. Оно поворачивалось с трудом, потому что у Микулашека-медведя от волнения, как обычно, сильно текла слюна.

— Спокойно, — сказал он себе. — Быстрота и хладнокровие!

Зубы его лязгнули о гладкий металл, и перстень соскользнул с мокрого пальца в пасть. Пришлось начать всё сначала.

В зале послышался выстрел. Это один из клиентов схватил револьвер у кассира и пальнул в потолок, чтобы придать себе мужества. Медведь перепугался. Он не привык к стрельбе. Теперь он понял, что рискует всем. Он подставил обе лапы и выплюнул перстень, помогая себе языком. Потом снова положил его в пасть и, взяв в зубы, попытался просунуть в него палец.

Снаружи раздался ещё один выстрел и крик кассира, который держал рычаг сигнализации и пытался взывать о помощи. Медведь подсознательно закрыл пасть и от волнения глотнул.

Он почувствовал, как перстень неудержно скользит по пищеводу. Он задыхался и кашлял. Потом попробовал сунуть лапу в горло, чтоб его вырвало.

Но ничего не получалось.

Его залила волна жалости к себе. Судьба обошлась с ним жестоко. Удручённый, он сел на унитаз и опустил голову на лапы, пытаясь собрать моральные силы. Он хотел встретить врага с гордо поднятой головой.

Когда пришли люди с верёвками, он с достоинством поднялся с унитаза, холодно поклонился и протянул обе лапы. Служащие посмотрели на него с немалым удивлением, потом набросили на него сеть.

Бухгалтер покорно переносил тряску в зарешечённой машине. Он знал, что приближается минута, когда он будет осуждён за свой поступок. Защищаться было бессмысленно, да и случая для этого не представилось. В таком ясном деле приговор бывает краток. Серьёзные люди, вершившие суд, совещались недолго. Они назвали его «медведь бурый» и отвели в клетку.

Он шёл, гордо выпрямившись... Потом с непреклонным видом уселся на дулистый ствол. Сник он только тогда, когда на его клетку стали прибывать табличку:

НЕ КОРМИТЬ!

К вечеру он стал есть сырую конину.

— Послушайте, коллега, — спросил несколько дней спустя научный сотрудник зоопарка у молодого аспиранта, — вы видели когда-нибудь, чтоб медведи рылись в собственном помёте? Этот наш экземпляр, по крайней мере...

— Конечно, товарищ доцент, — ответил усердный юноша. — Я тоже это заметил и объясняю тем, что после зимней спячки медведи ищут в помёте остатки непереваренной пищи.

Медведь всё это слышал, но ничего не сказал, потому что он был медведь. Он удалился в угол клетки, начертил когтями на песке несколько цифр и в уме вычел налог из зарплаты.

Он ждал своего дня.

Silná osobnost, 1961

Перевод: С. Пархомовская

Иллюстрация: С. Дуда



КАК ПРЫЩИКУ СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО

Смотритель Прыщик прислонился к колонне и неверной рукой вытащил из кармана пачку сигарет. Пальцы его так дрожали, что он сломал три спички, и только четвёртую удалось ему зажечь и прикурить как-то сбоку, от чего табак затлел лишь с одной стороны. Смотритель затянулся несколько раз: теперь он настолько пришёл в себя, что смог даже поднять с земли шляпу и нахлобучить её на голову, так как под аркадами зверски дуло. Но ещё много-много времени прошло, пока он совсем очухался. Впечатление было слишком свежим. Белая Дама прошла каких-нибудь три минуты назад. Он выходил из-за поворота аркадной галереи, когда она появилась метрах в десяти перед ним, так что он едва успел отскочить к стене и обнажить голову.

Белая Дама прошла мимо без единого слова, её длинные одежды развевались, смотритель успел заметить полный достоинства и приветливости жест, каким она поблагодарила его за поклон, — и вот она уже скрылась за угловой колонной.

То была она. Ошибка исключалась. Луна светила сквозь аркады, она ярко озарила каждую складку одеяния Белой Дамы, и связку ключей на поясе, и шарф, повязанный под ласковым, белым, как мел, лицом.

Именно его ласковое и приветливое выражение и заставило Прыщика по первому побуждению снять шляпу. Он впервые видел Белую Даму. Правда, он уже пятый год служил смотрителем в замке Шаратицы и слышал, что тут является Белая Дама, но, во-первых, он в неё не верил, поскольку был убеждённым эмпириком, а во-вторых, никогда не ходил в аркадную галерею лунной ночью. Да и что ему было там де-

лать? До недавних пор он жил в домике во дворе и только три недели назад переселился в освободившееся помещение на втором этаже замка, потому что в домике была такая сырость, что жить там стало невозможно. И ещё потому не попадал он лунными ночами под аркады, что уборная находилась совсем рядом с его прежней квартирой, и ему не надо было шататься по ночам бог знает где. Не то чтобы он боялся, — если не веришь во что-то, то и не боишься его, к тому же Белая Дама пользовалась неплохой репутацией, — просто Прыщик, как человек приличный, сидел по ночам дома. По замку он более чем достаточно нагуливался днём, сопровождая экскурсии. Сегодня же вечером он пошёл к дощатому домику по аркадной галерее, чтобы не ходить через двор, — и вот тут-то это и случилось!

Смотритель ещё не в состоянии был оценить, как ему повезло, что явление предстало ему, когда он возвращался. Сейчас он очумело таранился на серый камень стены, пока сигарета не обожгла ему пальцы. Тогда он встрепенулся, покачал головой и направил свои стопы к дому. То, что произошло, казалось ему чистейшим абсурдом. Ещё десять минут назад он мирно сидел у себя на кухне и читал «Учительскую газету».

Дело в том, что по профессии смотритель Прыщик был учителем. Почти двадцать лет учил он детишек в соседнем селе, и хотя неблагозвучная фамилия и маленький рост заставили его в конце концов покинуть любимое поприще, он продолжал следить за событиями в учительском мире.

Прыщик повесил шляпу в передней, вошёл в спальню и разбудил жену.

— Слушай, Маня, — сообщил он ей, — я видел Белую Даму!

— Что ж, видел так видел, — примирительно ответствовала супруга. — Ложись-ка лучше бай-бай!

Она была умная женщина. Ей, естественно, представилось, что муж её перебрал в замковом ресторане, хотя, в общем-то, не имел такой привычки; а унаследованная Маней фамильная мудрость шептала ей, что спорить с назюзюкавшимся мужем совершенно бесполезно.



— Да нет, серьёзно, я видел её, — настаивал Прыщик.
— Видел там, под аркадами!

— Не сомневаюсь, дорогой, — мягко согласилась жена, пряча в подушку голову, украшенную бигуди. — А теперь иди скорей, ложись спать. Завтра мне всё расскажешь.

Утром смотритель проснулся с таким чувством, будто вчера с ним случилось что-то неподобающее. Подобное чувство с утра — вещь крайне неприятная, а когда смотрителю припомнилось всё, — ему сделалось ещё хуже. Супруга хранила абсолютное молчание о ночном разговоре; полная внимательности, она предложила ему на завтрак чёрный кофе вместо обычного, с молоком. Ей было всё ясно. Среди прочих ценных заветов, передававшихся из поколения в поколение в её семье, был один, который учил, что делать при известных обстоятельствах мужчине кофе с молоком — значит наверняка изгадить всю квартиру. Прыщик молча позавтракал и углубился в первоисточники — он хотел узнать всё о шаратицких привидениях; экскурсий в этот день по расписанию не было.

Смотритель Прыщик знал, правда, уже наизусть, но для верности ещё раз перечитал, что Белая Дама является в Шаратицах с незапамятных времён, обходя лунными ночами аркадную галерею, на участке между главной лестницей и бывшей часовней. Привидение это безобидное, оно вежливо отвечает на приветствия, и только при явном оскорблении шипит и плюётся, что, однако, ещё не вполне доказано. Судя по первоисточникам, Белую Даму в последний раз видели в 1869 году, ибо вскоре после того замок Шаратицы был заброшен, и жил в нём один только пропойца лесник, с которого и спросу не могло быть. Прыщик помнил не менее своеобразного преемника того, первого, лесника. Когда Прыщик, ещё в порядке самодеятельности, важивал в Шаратицы первые экскурсии, лесник грозился открыть огонь и подстрекал своих собак облаивать экскурсантов, но о каких-либо привидениях никто и не заикался. Других фактов смотритель не нашёл ни в источниках, ни в собственной памяти. Шаратицы были восстановлены только пять лет назад, и смотрителем был назначен Прыщик, в то время как лесник удалился на заслуженный отдых.

Прыщик сел во дворе на лавочку под вековой липой, закурил сигарету и, время от времени сплёвывая, принялся размышлять. Он переживал кризис. Телом и душой он был настоящий эмпирик, один из тех фанатиков конкретного по-

знания, которые верили только в то, что сами видели и узнали или что видели и знали признанные авторитеты. Всё, что не могло быть доказано таким способом, Прыщик считал или проявлением мракобесия, или элементом фольклора, в зависимости от того, о чём шла речь. Но именно будучи эмпириком, Прыщик и сейчас не склонен был проявлять легковерие. Многолетнее авторитетное провозглашение прописных истин привело к тому, что среди учителей развились два противоположных типа: к первому относились люди, которые всё принимают всерьёз, а ко второму — те, которые не принимают всерьёз ничего. Прыщик безоговорочно принадлежал к первому типу. Это сильно осложняло ему жизнь, потому что над ним смеялись. Те, у кого были дети школьного возраста, смеялись втихомолку.

Единственным человеком, который никогда не смеялся над Прыщиком, была его жена: сначала потому, что это свойство мужа казалось ей скорее печальным, а позднее просто оттого, что привыкла. И хотя она любила его, однако не очень-то уважала. Она исходила из предпосылки, что «все мужчины — чокнутые», только в разной степени, и сперва, по неопытности, думала, что, в конце концов, возвещая правду, рискуешь меньше, чем играя в карты. Конечно, за время замужества она успела понять, что всё это как раз наоборот, но поскольку Прыщик всё равно не обнаружил никакого таланта в картах, добрая женщина довольствовалась тем, что несколько притормаживала супруга, когда тот слишком уж увлекался провозглашением правды и забывал о хлебе насущном. С той поры, как Прыщика назначили смотрителем замка, она немного успокоилась. Ей казалось, что в этой должности муж её не сможет так сильно вредить себе. Ещё она полагалась на то, что была родом из соседнего села. Не раз в прошлом, когда пан капеллан жестоко громил безбожника Прыщика, односельчане смеялись, бывало, и над Прыщиком, и над капелланом, а потом, пожимая плечами, говорили, что Маня — хорошая девчонка, только вот не повезло ей, и спокойно предавались разведению свиней. Те, у кого были свиньи, считали, что свиньями сыт будешь, а правдой — нет; остальных никто ни о чём не спрашивал.

Итак, Прыщик сидел под липой, сплёвывал время от времени и качал головой. Потом он даже заговорил сам с собою вслух. Он не видел выхода. Белая Дама существовать не может. Наука исключает это. Прыщик превыше всего уважал науку, но не мог отречься от свидетельства собственных глаз. Наконец он без особого удовольствия остановился на компромиссном выводе: видимо, он сделался жертвой оптического обмана. Однако чувство, что он не был честным перед самим собой, терзало его целый месяц. До следующего полнолуния. А супруга его озабоченно замечала, что ест он мало, а думает много, и очень боялась, как бы он опять чего-нибудь не выкинул.

В ту ночь, когда снова наступило полнолуние, небо затянулось тучами, и Прыщик, стоя под аркадами, начал опасаться, что его опыт не удастся. Однако после одиннадцати часов тучи разошлись, полная луна выбралась из их обрывков и ясно осветила всё вокруг; в этот момент в конце галереи показалась белая фигура. Смотритель вышел из-за колонны, и когда Белая Дама была от него в трёх метрах, он, сгорая от стыда, произнёс слова, которые явились плодом его усердных историческо-фольклорных исследований:

— Архибесстыдная блудница!

На лице Белой Дамы отразилось удивление и обида.

— Грязная потаскушка, извалявшаяся по всем канавам!
— гнул своё шаратицкий смотритель, твёрдо веря, что ради науки и правды следует жертвовать всем.

Яростное шипение отдалось под сводами. Дама плаксиво скривила губы — и Прыщик почувствовал на щеке плевков. Когда белая фигура быстрыми шагами скрылась за поворотом, управляющий вытер щёку, но она оказалась совершенно сухой. Он был доволен.

На следующий день к вечеру Прыщик уселся в рыцарском зале за круглый дубовый стол, за которым некогда лесник, впавший в маразм, угощал своих псов, встряхнул вечную ручку и написал — сначала начерно, а потом и набело — донесение в министерство культуры, в отдел исторических памятников. Изобразив всё, что видел, он отметил расхождение между виденным и собственным мировоззрением, закончил

лозунгом «Да здравствует мир!» и подписался — «Индриж Прыщик, смотритель государственного замка Шаратицы». Изложив чистую правду, он почувствовал глубокое удовлетворение. Письмо он послал заказным.

Оно попало по назначению. И в Шаратицы была командирована комиссия в составе доктора Томечка и доктора Боукала. Комиссия была смешанная. Доктор Томечек был толстый, доктор Боукал — худой, а если можно столь же суммарно, как и телесные свойства, оценивать свойства характера, то скажем, что доктор Боукал был хороший, а доктор Томечек плохой, что, однако, не лишало его аппетита, поскольку он об этом ничего не знал. Доктор Томечек был специалистом по истории культуры. Доктор Боукал был психиатром.

Они прибыли в Шаратицы к полудню и без промедления занялись каждый своим делом. Доктор Томечек всё выпытывал, был ли шарф у привидения завязан под подбородком или скреплён пряжкой, между тем как доктор Боукал хотел знать, не случилось ли смотрителю в детстве падать на голову, и что тяжелее — килограмм меди или килограмм пробки. На все эти, как и прочие, вопросы Прыщик ответил удовлетворительно, а когда дело дошло до меди, то он, из усердия, назвал даже её удельный вес, которого доктор Боукал не знал и был по этой причине приведён в смущение. Доктор Томечек делал записи. Доктор Боукал записей не делал. У него были заняты руки — он ощупывал череп Прыщика.

В заключение смотритель пригласил комиссию сходить с ним вместе в галерею и во всём убедиться собственными глазами: было снова полнолуние. Доктор Томечек принял предложение. Он обладал чувством долга. Доктор Боукал предложение отверг. Он тоже обладал чувством долга, но любил делать по-своему и ещё любил спать.

Ночь выдалась холодная. Прыщик бодрствовал в пальто, доктор Томечек — в одеяле, поскольку ни одно одеяние смотрителя на него не лезло. Незадолго до полуночи Белая Дама вышла из-за поворота галереи. Доктор Томечек вынул записную книжку, смотритель Прыщик снял головной убор — ему было немножко стыдно за свою прошлую грубость,

вызванную жаждой познания. Белая Дама ответила на его приветствие ласковым жестом, в знак того, что не сердится на обидчика; так прошла она своим путём и исчезла.



— Видели? — спросил Прыщик. Он не испытывал чувства удовлетворения. Он никого не собирался убеждать или привлекать на свою сторону. Он просто хотел подтверждения факта.

— Мы ещё потолкуем об этом, — уклончиво ответил доктор Томечек. Он не любил отвечать определённо, пока не разберётся, что к чему.

Утром комиссия уехала, ничего не сказав смотрителю. По дороге в Прагу речь о Белой Даме не заходила, а по приезде доктор Боукал написал своё заключение — что, мол, вопреки представленному письму, смотритель Прыщик не является ни помешанным, ни идиотом, после чего забыл об этом деле, так как выполнил всё, что от него требовалось.

В противоположность ему, доктор Томечек никакого письменного доклада не подал. Он не счёл это разумным. Вместо того он ослабил узелок галстука, чтобы подчеркнуть, что вернулся из командировки на периферию, и двинулся прямо к товарищу начальнику. Он постучал и вошёл, склонив корпус. Небольшая дань уважения не повредит.

— С чем пришёл, товарищ?

— Был я в этих самых Шаратицах, товарищ начальник, — ответил доктор Томечек. — По твоему поручению.

— Вот и славно, очень хорошо. И что ты там видел?

— М-да, сложное дело...

— Чего ж тут сложного, — возразил товарищ начальник. — Если этот Прыщик сумасшедший, отправим его лечить. Быть сумасшедшим вовсе не позор.

— Правильно, вот это я называю чутким отношением! — сказал доктор Томечек.

— Ну, так что же ты там видел? Говори!

— Если Прыщик свихнулся, — осторожно начал доктор Томечек, — то об этом, наверно, дал заключение психиатр. А я в таком вопросе не компетентен.

Начальник заглянул в бумаги на своём столе.

— Психиатр утверждает, что Прыщик не сумасшедший. Но ты-то что скажешь? Ведь ты там был, так на тебя-то произвело это какое-то впечатление или нет?

— Видишь ли, — нерешительно заговорил доктор Томечек, — видишь ли, я с ним ходил ночью в эту самую галерею, и значит, если говорить прямо, то он, несомненно...

— Да видел ли ты в конце концов Белую Даму, что это ты будто мочалку жуёшь?

Доктор Томечек очутился в весьма затруднительном положении. С одной стороны, он действительно видел. Хотя считал, что лучше было бы не видеть; но отрицать он не мог. Он был трус, но вместе с тем был и учёным. И сейчас он очень пожалел, зачем не сказался больным.

— Что-то в этом роде я видел, — неохотно промямлил он.

— «Что-то в этом роде» — чепуха. Видел ты Белую Даму или нет?

— Да похоже было на то, но если, так сказать...

— А ты не был пьян?

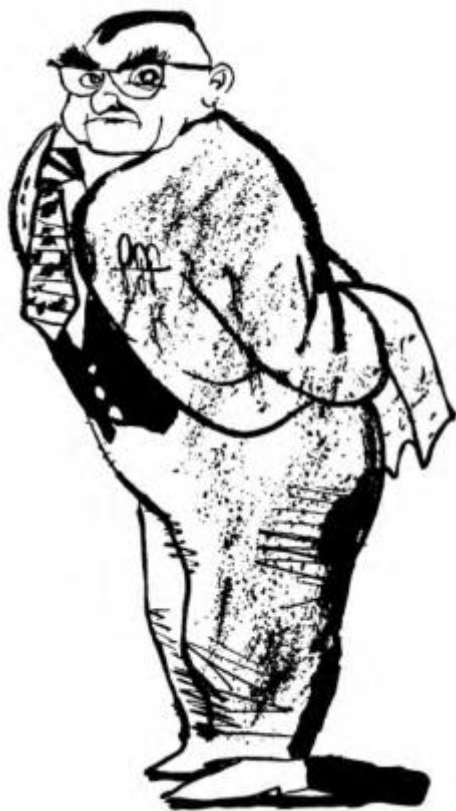
— Я не пью, — гордо заявил доктор Томечек, и от этого ещё больше стал противен товарищу начальнику, который не любил ханжей. Доктор Томечек давно был ему противен, но могущественный человек не губил его, считая хорошим специалистом.

— Стало быть, ты не был пьян, — принялся рассуждать начальник. — А Прыщик не сумасшедший. И оба вы видели Белую Даму. А психиатра с вами не было?

— Он спал, — съябедничал доктор Томечек и на мгновение обрадовался, надеясь, что начальство разгневется теперь на психиатра, а его оставит в покое. Но радость Томечекка была недолгой.

— М-да, — протянул начальник. — Тогда, видно, сумасшедший — я. А как оно выглядело, это... как его?

Доктор Томечек бодро принялся объяснять, что по платью привидение можно отнести к разряду замужних женщин панского или рыцарского сословия времён 1380–1420 годов; он объяснял и описывал всё очень подробно и весело, так как чувствовал себя гораздо увереннее в любимой области, чем на скользкой почве идеологии. Товарищ начальник слушал его терпеливо, хотя и с отвращением. Наконец через двадцать минут, когда Томечек уже описывал кайму плаща, начальник откинулся в кресле и прервал докладчика вопросом:



— Ну ладно, хорошо. Но, как по-твоему, что бы это могло быть?

Этого вопроса доктор Томечек с самого начала боялся больше всего, хотя и предчувствовал, что он будет задан.

— Видите ли, я, как специалист по истории культуры...
— попытался он спастись.

— Да нет! — нетерпеливо воскликнул начальник. — Я просто хочу знать твоё мнение — что это было? Жульничество или нет, и вообще, что это такое?

Доктор Томечек, правда, признал, что не думает, чтобы это было жульничество, так как это было бы технически трудно осуществить, но намекнул на возможность массового гипноза. Впрочем, он тут же сам и отверг такую возможность. Даже если бы Прыщик, или кто другой, сумел ему что-нибудь внушить, то не мог бы заставить доктора Томечека увидеть

или представить себе, чего не мог видеть сам внушающий, который не был таким специалистом, как сам Томечек. Помимо этого, совершенно ясно, что Прыщик никоим образом не заинтересован в том, чтобы на вверенном ему объекте происходили какие-то беспорядки.

— Стало быть, тебе тоже показалось, что это настоящая Белая Дама?

Доктор Томечек пожал плечами и ответил рассудительно, что ему трудно решить, ибо он не имеет возможности сравнить её с другим явлением подобного рода; так как Белую Даму он ни разу ещё в своей практике не встречал, то и не может сказать что-либо определённое.

— Но Белая Дама не может существовать, разве тебе это не известно?! — в отчаянии воскликнул начальник.

— Совершенно верно, — горячо согласился доктор Томечек. — Конечно, нечто подобное абсолютно недопустимо.

— Вот видишь, — с удовлетворением заметил начальник. — Сам прекрасно это знаешь, а рассказываешь мне тут всякую чепуху. Что ж, надо решать, как быть дальше, так ведь дело оставить нельзя. Что ты предлагаешь?

Доктор Томечек обрадовался. Он чувствовал, что непосредственная опасность миновала. Чтоб снять с себя ответственность, он предложил послать в Шаратицы более представительную комиссию, с тем, чтобы она изучила детально всё дело и, произведя на месте снимки при вспышках магния, зафиксировала зримую сущность явления.

Однако его предложение не встретило у начальства отклика. Что-то не везло сегодня Томечеку.

— Этого ещё не хватало! — возмутился товарищ начальник. — Комиссию по изучению привидений! Да как ты собираешься изучать то, чего, как тебе заранее известно, вовсе не существует? Если они там ничего не найдут, получится страшный конфуз, потому что все нам скажут, что мы могли, логически рассуждая, сами предположить, что ничего там нет, и в соответствии с этим занять точку зрения; а если там найдут нечто такое, что в искажённом виде сделалось бы достоянием гласности, — опять плохо. Или ты думаешь, что мы хотим превратить Шаратицы в место паломничества? Да

начни только изучение, и тотчас туда со всех концов кинутся богомолки. С ума ты сошёл?! Давай предлагай что-нибудь другое! Только разумное.

У доктора Томечка не нашлось в эту минуту никакого другого разумного предложения. Однако представление о могущих возникнуть неприятностях навело его на мысль, что во всём виноват любознательный Прыщик, так пусть он и расхлёбывает кашу, которую заварил. Доктор Томечек изобразил на лице выражение непримиримого идейного борца.

— Прыщик, — жёстко сказал он, — сообщает в своём донесении о призраке, как о действительном факте, что само по себе достаточно его характеризует. А эти разговорчики вокруг да около, что он там полностью осознаёт и так далее, то он просто туману напускает. Каковы бы ни были его побуждения, — а ими должны заинтересоваться другие инстанции, — мне представляется, что мы должны подойти к этому вопросу со всей ответственностью и твёрдо сказать себе, что человек, способный навязывать другим веру в призраки, не может на сегодняшний день оставаться смотрителем государственного замка. Он не может сослаться на сумасшествие, у нас есть заключение доктора Боукала. Мне всё это дело представляется ясным.

— Значит, думаешь, надо снять Прыщика?

— В противном случае, мы пригреем на груди змею, — произнёс доктор Томечек.

— Ну, хорошо. Очень хорошо. Можешь идти.

Доктор Томечек пошёл. Он очень радовался, что возвысил себя в глазах начальства, выказав такую непримиримость, и жалел об одном — как это он не сообразил добавить, что тот, кто не с нами, тот против нас, и что сегодняшний день не признаёт компромиссов.

Такой же точки зрения придерживался и товарищ начальник. Если бы доктор Томечек высказал эту мысль, он с удовольствием бы его выслушал. Однако у начальника были несколько иные масштабы. Люди часто высказывают или признают одни и те же принципы, вот только масштабы не дают им действовать одинаково. И это очень плохо, потому что из-за этого порой бывает очень трудно решить, что же

они за люди. Можно совершенно справедливо сказать, что доктор Боукал был хороший, глупый и тощий, а доктор Томечек — толстый, умный и плохой, потому что они действительно были именно таковы. У товарища начальника, без сомнения, были кое-какие из приведённых свойств, но какие именно и в каком количестве — трудно определить. Он сам об этом, как правило, не высказывался. А люди говорили о нём разное. К примеру, доктор Томечек утверждал, что начальник — осёл.

Через несколько дней смотритель Прыщик получил вызов. Поскольку надо было ехать в Прагу, пришлось обо всём рассказать жене. Та приняла это мужественно. В последнее время она внутренне готовилась к дурным последствиям усиленной духовной деятельности мужа.

— Ох, за тобой надо, как за малым ребёнком, приглядывать. И чего ты путаешься в такие дела? Голова у тебя есть? Ладно, я знаю, что нету, но ничего, не падай духом. В крайнем случае, может, возьмут тебя в кооператив, счетоводом. Попрошаю об этом.

— Магистр Ян Гус взошёл на костёр во имя истины, — с нажимом произнёс Прыщик.

— Магистр Ян Гус! — воскликнула его жена. — Магистру Яну Гусу, дуралей, не надо было кормить семью.

С этой точки её нельзя было сбить. Тем не менее она даже с некоторой гордостью провожала взглядом правдолюбца Прыщика, когда он в праздничном костюме, украшенном значками массовых организаций, следовал на станцию.

В Праге с ним обошлись милостиво. Даже не кричали на него. Он был введён в кабинет товарища начальника, ему предложили стул и сигарету и осведомились, любит ли он свою работу. Он ответил, что любит. В этом никто не сомневался. В его деле это было зафиксировано. Потом его спросили, можно ли иной раз ошибиться, и он ответил утвердительно.

— Вот видишь! Ошибаться может даже тот, кто ничего дурного в мыслях не имеет. Ошибётся человек, и всё тут, — пояснил ему товарищ начальник. — Вот и с призраком этим, или что там у вас было, — это ведь тоже ошибка, правда?



Смотритель Прыщик приподнялся и положил сигарету в пепельницу.

— Да нет, — в смущении возразил он, — то, что я видел, не было ошибкой. Я ведь нарочно проверял. И видел я собственными глазами.

— И что же, ты думаешь — возможно такое?..

— Невозможно. Я даже думаю, что это совершенно исключено. Но я видел.

— Белую Даму?

— Белую Даму.

— М-да. А если я тебе скажу, что нормальный, здоровый человек не может видеть таких вещей и что тебе надо лечиться?

— Тогда я буду лечиться, — упрямо сказал смотритель. — Но то, что я видел, я увижу ещё и ещё раз, пока это там будет, а если кто пойдёт со мной, то и он увидит.

— Пускай. Но знаешь ли ты, какие последствия вытекают для тебя из таких твоих утверждений? И ты стоишь на своём, даже зная, что тебе грозит? Стоишь или не стоишь?

— Стою, — ответил смотритель Прыщик, хотя в эту минуту он не был совершенно уверен в том, что место счетовода в кооперативе останется за ним.

Великий человек за письменным столом задумался. Потом предложил Прыщику ещё сигарету.

— Ладно, что ты видел, то и видел, этого я у тебя не отнимаю. Но, послушай, бывал ты когда-нибудь в замке Хухвалец?

— Бывал.

— Ну и как, нравится?

— Нравится. Прекрасно сохранился, большой, полностью оборудованный. Чудесный замок.

— Очень хороший замок, — согласился начальник. — И заработная плата там повыше. И нужен там добросовестный человек. Такой, который знает свой долг по отношению к обществу. И исполняет его при всех обстоятельствах, понимаешь? Я тебя не тороплю, но ты подумай как следует! Так видел ты в Шаратицах Белую Даму или нет?

Смотритель Прыщик положил в пепельницу вторую недокуренную сигарету. Он смутно чувствовал, что неудобно курить в великие минуты жизни.

— Видел, — чуть не плача, ответил он, — видел я в Шаратицах Белую Даму, под аркадами, видел, она зашипела на меня и вдобавок плюнула, я видел её и увижу снова. Я жалею, что видел её, мне было бы лучше не видеть её, но я её видел и не могу от этого отказаться. Если б люди боялись говорить о том, что они видят, тогда вся жизнь не стоила бы ни гроша.

— Ну хорошо, очень хорошо, — сказал человек за письменным столом. — Говоришь, не стоила бы ни гроша? Ладно. Ты ведь понимаешь, что говоришь, верно? Так что ступай домой, собирай свои вещички. Придётся тебе переселиться.

Через две недели после этого смотритель Прыщик раз-машистыми ударами прибывал к древней стене замка Хухвалец картину: магистр Ян Гус перед Констанцским собором. Для данного случая, правда, годилась бы ещё и Жанна Д'Арк, но, во-первых, ему это не пришло в голову, а во-вторых, не было у него такой картины.

В тот же час преемник Прыщика в Шаратицах водил по замку последнюю за тот день экскурсию; ткнув пальцем в сводчатый потолок галереи, он проговорил:

— А это архитектурное сокровище нашего замка, большая галерея на сводах, один из немногих сохранившихся остатков первоначального строения, возведена в конце тринадцатого века. Обратите внимание на раннеготические капители колонн и на эти листья, высеченные на гранях сводов: это замечательная художественная работа на местном материале — песчанике. Говорят, что ночью, при лунном свете, очень красив вид на эти аркады. А чтобы повеселить вас, скажу ещё, что, по преданию, в этом месте являлась шаратицкая Белая Дама. По ночам, конечно, галерею запирают из соображений безопасности, чтоб кто-нибудь не сломал себе ногу на выбитых плитах пола. Так что нам трудно проверить предание, ха-ха-ха! Пройдите, пожалуйста, к выходу. Осмотр окончен.

Jak Pupenec k štěstí přišel, 1961

Перевод: Н. Аросева

Иллюстрации: Е. Шукраев, С. Дуда



JAK
PUPENEC
K ŠTĚSTÍ
PŘIŠEL



МЁРТВАЯ КОШКА

«...И теперь нам не остаётся другого выбора, кроме как задать вопрос руководству института:

Как мог быть человек с подобным прошлым назначен на должность, с каковой он получал доступ к таким ценным приборам, как манометры?»

Журналист зевнул с чувством глубокого удовлетворения. Что-что, а кража манометров должна быть порицаема всячески. Манометр, разумеется, вельми ценный прибор, в противном случае, вряд ли бы кто их воровал. В этом вопросе журналист был абсолютно уверен, хотя и плохо представлял, как этот манометр выглядит на самом деле. Ровно в 11:00 он оторвался от пишущей машинки.

Журналист подошёл к окну, чтобы вытряхнуть пепельницу. И тут он резко пригнулся и отпрыгнул в сторону. Неясная тёмная масса мягко ударилась о стекло окна, широко распахнув его и с глухим стуком приземлилась на диван.

Журналист поставил пепельницу на место, подкрался к окну и осторожно прикрыл его. Только простак будет выглядывать в окно, когда в его комнату что-то бросают. Затем он повернулся к дивану. На зелёной обивке, неестественно скрюченный, лежал кошачий труп, и его чёрная шерсть блестела в свете настольной лампы, подобно свежему, мягкому асфальту.

Журналист тихо понадеялся, что кошка померла не слишком давно. Будучи молодым и дерзким, подобные эксцессы он не одобрял. Три месяца назад в ответ на фельетон о розничной торговле в окно его комнаты забросили коробку тухлых яиц. Коробка раскрылась от удара, и яйца разбились. Беспорядок в рознице, видимо, был действительно большим, так как яйца выбирались с аккуратностью и любовью, выдавая подлинного эксперта.

Журналист никогда бы не поверил, что всего четыре яйца могут пахнуть столь одурающе. Однако главный редактор заметил, что для настоящего труженика прессы каждое

новое знание — истинное сокровище. Далее он провозгласил, что несколько тухлых яиц не смогут остановить колесо истории. А затем он ужасно поморщился.

Журналист не был уверен, не издевается ли над ним главный редактор. Однако пребывал в уверенности, что насмехаться тот не должен. А должен, как то подобает каждому ответственному работнику, ценить молодую, подрастающую смену. Это журналист почерпнул из многочисленных читанных передовиц. Впрочем, не было известно, знаком ли с ними главный редактор. Кроме того, журналисту казалось, что колесо истории — это одно, а яйца — совсем другое, особенно, если эти яйца воняют. Однако он дал выход своим сомнениям, включив в наброски своей предстоящей статьи о сомнениях и чувствах современной молодёжи замечание о том, что цинизм по отношению к чужим страданиям является признаком глубочайшего морального падения. Затем он удовлетворил своё чувство мести, сделав тем же вечером в коридоре общежития безадресное, но громкое заявление о том, что определённые принципы должны быть священны для каждого порядочного человека.

Журналист надел старую перчатку, расстелил на столе газету, а затем осторожно, кончиками пальцев, ухватил мёртвое тело за хвост. Он твёрдо решил, что завтра попросит администрацию общежития выделить комнату на третьем этаже, с окном во внутренний двор. Он приложит труп кошки в качестве обоснованности законности своей просьбы, и, если та не будет удовлетворена, обратится в народную администрацию. Обеспечение безопасности тружеников прессы — это государственная обязанность.

Кошка была совершенно чёрной, без единого пятнышка, и в подвешенном положении лапы её достигали земли. Вероятно, она померла ещё не так давно, ибо трупного окоченения пока не ощущалось, а широко открытые, раскосые жёлтые глаза были такими же яркими, как у живой. Выпуклый лоб плавно изгибался к самой морде. Он был довольно большим.

Журналист не любил кошек. Ни живых, ни мёртвых. Кто не любит живых кошек, тот, безусловно, менее всего

склонен выказывать к ним уважение после смерти. Есть же разница между мёртвой кошкой и мёртвым человеком.

— Кто ж бросил тебя сюда, блудня? — задумчиво спросил он.

— Ты не знаешь, — ответила кошка, — он не сказал тебе имени.

Её положение не изменилось, но рот слегка приоткрылся, голос был слабым. Немного хрипловатый, но не такой, каким представляется кошачий голос.

Журналист снял перчатку и закурил сигарету. Затем он включил все лампочки, открыл дверь в освещённый коридор, чтобы как можно больше света падало на стол с кошкой. Наконец он оперся обеими руками о край столешницы и, щурясь от дыма сигареты, склонился над неподвижным телом.

— Разумеется, — сказал он вслух, потому что все говорят вслух, когда не слишком уверены в себе. — Теперь ты начнёшь исчезать, начиная с хвоста и заканчивая улыбкой, так что в конце концов останется только улыбка, а потом придут Шляпник с Мартовским зайцем и запихнут Соню в чайник. Так это бывает в книгах. Да. И теперь я просто хочу знать, что произошло и что мне теперь делать.

— Ты этого не знаешь, — ответила кошка. — Тебя не было рядом, когда это произошло.

Журналист почувствовал необходимость что-то сделать, что-то приказать, например, поднять лапу или вылезти из кошки, но на ум ничего пришло.

— Ты не можешь говорить, — неуверенно произнёс он, — ты не можешь говорить!

Кошка промолчала. Она была черна и неподвижна.

— Скажи шестнадцать, — подбодрил кошку журналист.

— Шестнадцать, — сказала кошка.

— Двадцать восемь с половиной.

— Двадцать восемь с половиной.

— Накопление капитала.

— Накопление капитала, — не дрогнув, сказала кошка.

Журналист больше не знал, что делать. Он ранее не читал ничего подобного происходящему.

— Хочешь немного молока? — он попробовал задобрить кошку. Сам того не осознавая, он стал относиться к мёртвой кошке, как к человеку. Живой кошке он не стал бы предлагать молоко.

— Ты ничего не хочешь, — сказала кошка. — Я мертва. Ты так не ешь.

— Мёртвые не разговаривают, — возразил журналист. Происходящее поражало его больше, чем лингвистические несоответствия.

— Предположительно, — сказала кошка. — Ты ничего об этом не знаешь.

— Как это я не знаю? — обиделся журналист за своё мировоззрение.

— Я не знаю, — объяснила кошка.

Журналист несколько раз пересёк комнату, стряхивая пепел на ковёр. В другое время он бы никогда этого не сделал, потому что ковёр был его.

Затем он вернулся к столу.

— Ну, послушай, — сказал он, — выбора тут нет. Либо ты мёртвая кошка, и тогда ты не можешь говорить, либо ты живая кошка, и тогда ты не можешь говорить. В любом случае, тебе лучше убраться отсюда, ибо я не хочу никаких кошек. Я чешский журналист, а не приют для животных.

— Тыдохлая кошка, — сказала кошка, — и ты можешь говорить.

— Ты хочешь сказать, что ты мертва, верно?

— Да, — спокойно согласилась кошка, — ты мёртв, и поэтому ты не ешь.

— Как это возможно?

— Ты не знаешь. Быть мёртвым не значит быть всеведущим.

Это было неудобно. Судя по всему, кошка была не только мертва, но и не знала или не умела управляться с глаголами первого лица единственного числа. Журналист подумал про семь основных криминалистических вопросов, что были напечатаны в юридическом ежегоднике, но не смог их вспомнить. В голове крутилось лишь, что журнал был на сло-

вачком, а последний вопрос был — «И почему?». Этого было явно недостаточно.

— Как давно ты мертва?

— Очень долгое время. Ты не знаешь, ты не помнишь. Я не могу так точно определить время.

— Ты всё ещё помнишь, когда был жива?

— Очень смутно, почти нет.

— И почему ты разговариваешь?

— Потому что тебя спрашивают.

Журналист потихоньку начал впадать в истерику.

— Это что, шутка такая? Это ненормально, знаешь ли!

— Это не шутка. Я не шучу, — сказала кошка. — Я мертва.

Журналист вышел в коридор и постучал в соседнюю дверь.

— Ферд!

— Я не могу, я занят, я мою ноги.

Журналист несколько успокоился, когда услышал человеческий голос. Мир снова показался ему нормальным.

— Обязательно зайти ко мне, прошу тебя!

— Тогда я вымою шею, — заявила дверь. — Кто-то заболел?

— Нет, я просто хочу поговорить с тобой. Ты не можешь поторопиться?

Дверь сообщила, что напор горячей воды недостаточен и это займёт некоторое время. Журналист вернулся в комнату и взял газету с кошкой в руки. Он не притянул кошку к себе, как мы инстинктивно берём живое животное. Он чувствовал мёртвый груз на своих руках. Журналист положил труп на стеклянный кофейный столик, и, поскольку выглядел тот не очень красиво, придал трупу положение, естественное для лежащей кошки. Он пристроил голову на передние лапы и подошёл к шкафу выпить сливовицы. Как известно, это один из немногих действительно хороших способов справиться с вещами, которых мы не понимаем.

— Извини, — сказал он кошке и повернул переключатель рядом с её головой.

«...и именно поэтому нам приходится решать вопрос, который особенно важен для нашей работы в настоящее время: как максимально радикально предотвратить болезни зерновых культур?»

Журналист протянул руку и повернул ручку в исходное положение. Болезни зерновых культур занимали очень мало места в его внутреннем мире. Он взял новую сигарету.

— Не выращивай злаки, — заметила кошка в наступившей тишине.

Журналист вздрогнул и уронил спичечный коробок.

— Что?

— Не выращивай злаки, — повторила кошка. — Новые не сажайте, а старые сожгите. Это радикально.

— Это глупо, тебе не кажется? Без злаков было бы трудно жить.

— Вопрос был не в том, можно ли жить без злаков, а в том, как максимально радикально предотвратить болезнь. Ответ на этот вопрос таков: новые не сажать, старые сжечь.

— Хм. Однако, — сказал журналист, потому что был несколько ошарашен железной логикой мёртвой кошки. Он захотел поколебать её уверенность в себе.

— Как делают пралине?

— Ты не знаешь, — сказал кошка.

Журналист торжествовал. Он тоже не знал.

— Где тебя подобрали?

— На свалке. Между одним глиняным и одним эмалированным горшком.

— Да, но как ты туда попала?

— Меня отнёс туда мужчина, с которым ты была раньше.

— Уже мёртвую?

— Да.

— И кто это был? Ты сделала ему больно?

— Ты не знаешь точно, что он делал. У него было много книг. Ты никак не причинишь ему вреда, потому что ты мертва и никому не можешь причинить вреда.

— Тогда почему он хотел избавиться от тебя?

— Ты этого не знаешь. Тебе тоже всё равно. Он спросил, и я ответила ему, как и всем остальным.

— Могу я спросить, что это были за вопросы?

— Конечно. У меня нет причин что-то скрывать.

— И какие же тогда были вопросы? — спросил журналист уже на грани истерики. Однажды он брал интервью у метателя молота, но сейчас было ещё хуже.

— Вопросы, которые он мне задавал, — ответил кот, — ты не помнишь в деталях. Однако ты можешь ответственно сказать, что эти вопросы были другими.

— Ради бога, — взорвался журналист, — это не животное, это какой-то придурок!

— О чём ты говоришь? — спросил с порога невысокий мужчина в пушистом купальном халате. — Что случилось? Что ты от меня хотел?

— Закрой за собой дверь, Ферд, и молчи, никто не должен узнать. Подойди сюда к столу и посмотри на эту кошку!

Человек по имени Ферд подошёл к кошке и поднял её голову. Он оттянул пальцем её веко, посмотрел на зрачок, провёл по нему ногтём, а затем вернул кошачью голову в исходное положение.

— Ты позвал меня поздно, приятель. Она мертва!

— Я это знаю, — проникновенно сказал журналист. — Это каждый идиот скажет.

— Не каждый идиот, — спокойно поправил его мужчина в халате, — а только и исключительно специалист. Мнение простого идиота ничего не стоит в процессе определения факта смерти. Но тебе следовало отнести её к ветеринару, пока было ещё не поздно. Я не лечу кошек. На них не распространяется медицинская страховка. Выбрось её, пока она не завоняла! Она у тебя недавно, не так ли? Я никогда раньше не видел тебя с ней. Жаль, она хорошенькая. Что она съела?

— Она ничего не съела. Дело не в этом. Посмотри на неё внимательно и скажи мне, что ты видишь.

— Что я должен увидеть? Она мертва, это всё, что стоит знать о кошке. Мертва недавно, может быть, пару часов, потому что трупное окоченение ещё не проявилось. Что ещё? Она чем-то отравилась? Можем завтра проверить содержимое твоего желудка и вынести окончательный вердикт.

Журналист, испугавшись, заявил, что судебного вердикта не требуется вообще, а, в частности, он ни за что не позволит никому совать нос в содержимое своего желудка.

— Будь внимателен, — он поднял палец, — я тебе кое-что покажу!

— Что сегодня находится на переднем крае устремлений каждого молодого человека? — он повернулся к кошке.

По его опыту, этот вопрос требовал ответа в размере, по крайней мере, двух колонок. Затем он вспомнил, что кошка может снова одурачить его буквальным пониманием вопроса, и добавил:

— Что больше всего интересуется молодёжь? В принципе!

— В принципе, — сказала неподвижная масса на столике, — молодые люди больше всего заинтересованы в том, чтобы их не воспринимали как таковых. В противном случае вопрос о молодёжи является не фактическим, а лишь гипотетическим.

Журналист слегка вздрогнул. Фред достал из кармана халата половинку сигареты и вставил её в бумажный мундштук.

— Где ты этому научился? — спросил он с интересом.

— Чему это я должен был научиться?

— Ну, чрево вещать, хотя пока и неумело! Тебе ещё предстоит потрудиться. Последний раз я видел это в цирке из Трутнова, но не многие люди могут чрево вещать хорошо. Но если ты хочешь с этим выступить, следует подобрать другой репертуар.

Он ощутил некоторое уважение к журналисту. До сих пор он не искал его общества, ибо знал, что тот обладает литературными амбициями, о которых может говорить без умолку долгими зимними вечерами.

— Дело не в этом, — возразил журналист. — Задай кошке вопрос сам. Но смотри на неё, а не на меня!

Доктор решил продолжить тему и, поглядывая на кошку, сказал:

— Вам не кажется, что у молодёжи могут быть и другие интересы?

— Они могли бы быть, — последовал ответ. — Однако реализация этих других интересов обусловлена необходимостью реализации основного интереса.

Мужчина в халате подскочил, как кузнечик.

— Что это? Она двигает своим ртом! Как это сделано? Где ты её взял?

— По правде говоря, — язвительно заметил журналист, — кто-то бросил её мне в окно полчаса назад. Ну и что в этом странного? Это хороший знак, знаешь ли, положительный знак. Доказательство необходимости работы должно, в конце концов, радовать каждого работника, ибо... Ну, вот неужели, никто никогда не приносил тебе сервелат?

Доктор не ответил, так как внимательно осматривал тело кошки, поворачивая его из стороны в сторону, и, к счастью, вообще не слышал последнего вопроса. Почти каждая профессия выглядит весьма хорошей и прибыльной для представителей других профессий. Сам Ферд никогда не скрывал мнения, что журналисты проводят свои дни в беспробудном пьянстве и совершенно не в состоянии компенсировать свои непомерные доходы. С другой стороны, он готов был словом и скальпелем раз и навсегда искоренить мысль о том, что больные приходят к врачам исключительно с добрым куском свиного окорока, отдавая себе отчёт, что им не выжить без хорошего подношения.

— Слушай, ты, — прорычал он, — это не обычная кошка! Я не имею в виду кошачьи мумии и всё такое. Я видал такое в Египте, но не здесь. Зрачковой реакции нет, сердце не бьётся. У тебя есть нож?

— Не глупи, я здесь живу, — возразил журналист, — и мне не нужен здесь кабинет естественной истории. Кроме того, это причинит ей боль.

— Я просто собираюсь её немного порезать. Ну что, было больно?

— Это не больно, — сказала кошка.

— У неё нет крови, смотри! Она мертва, как кусок дерева. Я хотел бы знать, что это за фокусы!

Он встал со стула и машинально погладил густую, слегка припорошённую пылью шерсть. Кошка не потянулась, не

замурлыкала, как это делают кошки. Она была неподвижна, черна, мертва и нелепа.

— Это не фокус, — грустно сказал журналист. — Всё так и есть. Она мертва и разговаривает. И что она говорит! Но я... Я лично просто не могу согласиться с её взглядами.

— Ты не обязан соглашаться, кошка не является твоим начальником. Я возьму её с собой, если ты не против.

— Я просто пишу статьи. Для этого мне нужна ясность мыслей, но в присутствии какого-то механизма для запутывания понятий, я не могу себе этого позволить...

Когда доктор ушёл, взяв кошку подмышку, журналист вернулся к своей работе. Но получалось это у него не слишком хорошо. Мысли, высказанные мёртвой кошкой, слишком крепко засели у него в голове.

Три дня спустя пани Проузова ворвалась в привратническую Института и закрыла за собой обе двери.

— Папа, — сказала она швейцару Проузу, который удобно устроился в мягком кресле и ковырялся в зубах, готовясь прочесть «Вечернюю Прагу», — папа, доктор Маршалек — псих!

— Все это знают, — заверил её швейцар. — Это не всегда связано с образованием, но просто посмотри на всех этих докторов. Образование портит мозги.

— Ну, это да, но он худший псих, чем все эти образованные. Он учит дохлую кошку говорить.

Швейцар выудил из зубов кусочек мяса.

— Тебя это беспокоит? Если ему это нравится, пускай. Кошка сказала тебе что-нибудь плохое? Если она это сделает, я с ним разберусь.

— Это не я говорю с ней, это он говорит с ней. Он задаёт ей вопросы, а затем их записывает. И учти, его кошка тоже сумасшедшая. Об этом следует сообщить, куда следует. Она, например, говорит ему, что хорошо убивать маленьких детей. Я это слышала.

— Ты, должно быть, ошибалась. Ни одна кошка не может говорить подобно Ироду. Но это так нельзя оставить. Где она у него? Наверху? Он уже ушёл домой?

— Я думаю, — объяснил доктор Маршалек, когда журналист зашёл выпить кофе, — что она не может контролировать человека, либо потому, что никогда не слышал, чтобы она задавала вопросы, либо — и это тоже возможно — потому что, как у мёртвого существа, у неё нет смысла существования.

— Не обращай внимания. Она противная и циничная.

— Да. Но, на самом деле, нет. Это просто логика. Она за пределами добра и зла. Машина для выработки мыслей. У неё нет специальных технических знаний, но она делает логические выводы из представленных фактов.

— Где она этого набралась?

— Я не знаю. Она говорит, что ничего не помнит. Она говорит на многих языках и отвечает на том, на котором вы задаёте ей вопрос. Я попробовал идиш. Она не знает правил грамматики, но, за исключением первого лица, говорит прекрасно. У меня более 50 страниц заметок. Смотри, прямо здесь: она утверждает, что лечение людей неэффективно. Удобнее убивать людей, чем лечить их, потому что вылечить кого-то очень сложно, в то время как каждого можно прекрасно убить с относительно небольшими усилиями, что в то же время исключает риск дальнейшего заболевания. Разве она не очаровательна?

— Ну извини! И ты согласен с ней?

— Не будь дураком. Это просто вещь.

— И ты что-то придумал?

— С ней ничего не понятно. У неё нет обмена веществ, у неё нет кровообращения, у неё ничего нет, у неё есть все органы, насколько я смог определить, но они не работают. Рана не заживает, но и не гниёт, организм не регенерирует. Откуда она берёт воздух, который должен проходить через голосовые связки при разговоре, я тоже не знаю. Нет дыхания. Когда она говорит, зеркало не запотевает у её рта, и пёрышко не двигается.

— И что ты будешь с этим делать?

— Просто не знаю. Я мог бы, конечно, препарировать её, но это бы испортило её, она не восстановилась бы, и, кро-

ме того, было бы похоже на вивисекцию — препарировать животное, которое не можешь понять. Я дал ей понюхать хлороформ, но это бесполезно, если она не дышит. Я что-то ввёл ей, но это не впитывается. Я сделал ей рентген. Она мертва. Но она не разлагается и не забальзамирована. Чёртова блудня! Она, так сказать, не предлагает мне возможностей для научной работы.

— Пан Проуза, — доктор Маршалек ворвался в при-
вратническую на следующее утро, — где кошка?

— Какая ещё кошка? — ответил швейцар Проуза. — Я не слежу за вашими кошками. Я не живодёр.

— Не глупи. Мёртвая кошка. Мёртвая чёрная кошка. Она лежала у меня на шкафу.

— О? Дохлая кошка? Я ничего об этом не знаю.

— Послушай, она была там прошлой ночью. Она не ушла сама, потому что она мертва. Пройшей ночью ты был здесь один, и я знаю, что ты умеешь вскрывать замки. Ну так что?

Швейцар Проуза кошку отдавать не хотел. Он не знал, как с ней поступить, хотя и разговаривал с ней, и пытался соблазнить молоком и печёнкой. Однако он не оставлял надежды, что животное наделено пророческим духом и что раскроет результаты следующего футбольного матча. В крайнем случае швейцар был полон решимости подвергнуть кошку пыткам, так как ему очень хотелось, чтобы выиграл «Спартак», а ещё стиральную машину.

— Слушайте, пан Проуза, — сказал доктор Маршалек, — эта кошка — научный объект. Если её не найдут к завтрашнему дню, я буду вынужден вызвать охрану.

— Только попробуйте, — ворвалась Проузова из коридора. — Только! Чтоб честным людям влипнуть в неприятности из-за какой-то тушки? Вы образованный человек? А ещё я хочу сказать вам, что у вашей кошки слишком странные мнения. Очевидно, что они не её, ибо о таком животные понятия не имеют. Это вы научили её некоторым не очень хорошим вещам. Папа, что говорит его кошка? О рабочем классе?!

Швейцар весь ошетинился при этих словах. Швейцаров нельзя считать крестьянами или рабочей интеллигенцией, и поэтому они чрезвычайно чувствительны в своей принадлежности к рабочему классу. Всякий раз, когда Проуза видел где-нибудь фигуру мускулистого мужчины с молотом, то чувствовал тёплое чувство единения с ним.

— Да, вот именно, — он вскочил и, вытащив чёрную кошку изнутри напольных часов, схватил её за шкуру и ткнул в лицо доктора Маршалка. Кошка безвольно повисла, подобно маленькому удушеннику.

— Что такое рабочий? — закричал швейцар ей в ухо.

— Рабочий, — сказала кошка спокойным и тщательно выговариваемым голосом, — это человек, который зарабатывает себе на жизнь физическим трудом. Потому как не располагает возможностями для нечестного заработка.

— Итак, — сказал Проуза, кладя кошку на стол, — вот вы слышите это из её собственных уст!

— Я предупреждаю вас, — сказал доктор Маршалек, — что мы слышали это заявление из уст кошки, а не из моих уст. Я никоим образом не инструктировал кошку, и поэтому я не несу ответственности за её высказывания.

— Не говорите нам об этом, — сказала пани Проузова, — это невинное животное не может выдумать такое сама. Мы тоже не хотим доставлять вам никаких хлопот, и все иногда немного косноязычны, не так ли, но эта кошка наша, и мы оставим его себе. Я права? — она повернулась к отцу.

— Не совсем, — сказала кошка, услышав вопрос. — Если пострадает собственность, то в будущем будет вынесено определённое судебное решение.

— Вы видите, — вскочил Проуза, — какая она! Она обучена внушать людям недоверие.

— Так, так, — пробормотал лейтенант общественной безопасности, закрывая за собой дверь. Он был одет в зимнюю шинель, и на первый взгляд казалось, что его удерживают вместе только кожаные ремни.

— О, — сказал Проуза, — наше почтение, товарищ участковый!

— Честь имею, — ответил лейтенант, стряхивая капли дождя со своей фуражки. — Я собираюсь найти мясо. Я получил сообщение от вашего руководства, что пропадает мясо для животных. Итак, я пришёл к вам, узнать, как здесь вообще обстоят дела. Я имею в виду, кто мог бы?..

Швейцар задумчиво почёсывал в затылке.

— Практически все, у кого есть доступ к рассматриваемому мясу, — эхом отозвалось из-за стола.

Проуза накрыл предмет на столе спиной и повернулся к пани с кривой улыбкой.

— Ты правильно сказала, дорогая. Но товарищ участковый хотел бы знать, кого мы подозреваем.

— Не совсем так, — сказал лейтенант, — но кому бы это было выгодно...

— Трудный вопрос, — сказал Проуза. — Мы честные люди и не хотим возводить напраслину. Мы мясо не берём, это я могу вам сказать. У нас нет собаки, кому бы мы скормили мясо?

— Вы можете либо съесть его сами, — сказал тот же звучный голос, — что маловероятно, учитывая обстоятельства, либо вы можете продать его другим, не раскрывая его истинное происхождение.

Лейтенант сурово повернулся к доктору Маршалеку.

— Вы не можете говорить такие вещи, товарищ! Вы кто?

— Гм, — кашлянул доктор Маршалек.

— Товарищ доктор — он весёлый, — вмешался Проуза, снимая фуражку и пытаясь засунуть её кошке в рот за спиной. — Он просто шутит, ха-ха-ха! Могу ли я, как профсоюзный деятель, что-нибудь украсть?

— Обобоа обхамон хехамаха хе хи... — доблестно проворчала кошка.

— Натe! — прорычал Проуза, как только двери за офицером закрылись, и швырнул кота в руки доктора. — Натe, забирай свою тушу! Ты настроил её против нас! Можно ли так издеваться над честными людьми?

— Наверное, нет, — сказала кошка, безвольно повиснув на руках доктора. — По крайней мере, не всегда.

Доктор Маршалек засунул кошку под пальто, застегнул пуговицы до самой шеи и направился к телефонной будке.

— Мне не нужна эта кошка, — объяснил он журналисту, когда они сели за кофейный столик. — Она втягивает меня в неприятности. Опасность неправильного толкования её взглядов не может быть уравновешена никакими возможными научными достижениями.

— Мне это тоже не нравится, — пожал плечами журналист. — Её образ мыслей мне не подходит. Давай бросим её в реку.

— Ты не можешь её утопить. Она где-то всплывёт, и ты не знаешь, к чему это приведёт.

— Тогда мы сожжём его в печи и успокоимся.

— Ну, — с отчаянием сказал доктор, — я не думаю, что смогу. Ты не можешь сжечь её, так сказать, заживо, пока она говорит, и ты не можешь убить её до этого, потому что она и так мертва. Кроме того, это всё-таки определённое явление, даже если я не могу научно с ним разобраться, и мы не имеем права его уничтожить. Лучше всего было бы отдать её куда-нибудь. Вы верите в Бога?

Журналист закатил глаза.

— Я тоже не верю, — объяснил доктор. — Ни в Непорочное Зачатие, ни в говорящих мёртвых кошек. Вещи, в которые я не верю, обязательно должны быть вместе. Более того, институты, основанные на абсурде, и должны, прежде всего, заниматься всем абсурдным. Пойдём со мной.

— Мы хотим поговорить с викарием, — объявил он немного спустя старушке, открывшей им дверь. Старушка повела их холодным коридором.

— Что вы мне принесли, джентльмены? — недоверчиво спросил старый викарий, вытирая носовым платком крошки еды с губ.

— У нас, господин пастор, к вам довольно необычная просьба.

— Я, безусловно, окажу вам помощь, уважаемые, в меру своих скромных сил. Пожалуйста, присаживайтесь, — свя-

щенник указал на два стула из потёртого плюша. — Если, конечно, это не будет чем-то противозаконным. Понимаете...

— Разумеется. Вот в чём дело: у нас есть кое-что, что мы хотели бы передать в ваши руки, потому что мы пришли к выводу, что вы лучший человек, для обладания этим предметом. Если только вы не откажете нам в помощи.

— Ну да, конечно, — испуганно кивнул глава духовного ведомства, — то есть... И в чём же дело, прошу прощения?

— Одну минуту, — объявил доктор Маршалек, вынимая кошку из сумки и кладя на скатерти на столе. Затем он аккуратно расправил её и отступил назад, чтобы издали осмотреть свою работу.

— Мы, преподобный, принесли вам кошку.

Викарий дотронулся до кошки. Затем покраснел до ключиц.

— Ах, так, — разозлился он. — Уважаемые, если вы думаете, что наше время позволяет вам делать такое... Я не знаю, как бы я это назвал... просто заберите своё животное прямо сейчас, или я буду вынужден обратиться к общественности за защитой.

— Не сердитесь, — успокоил его доктор Маршалек, — кошка мертва. Я врач, я знаю это наверняка.

— И что? — бушевал старик. — Что это должно означать?

— Мы подходим к этому вопросу. Итак, кошка мертва, и, согласно её собственным показаниям, она будет мертва ещё долгое время. Но она не разлагается, и более того, она разговаривает.

— Я не слышу, — отрезал духовный пастырь.

— Так задайте ей вопрос!

— Я не участвую в таких фокусах!

— Тогда я спрошу её сам. Послушай, — он наклонился к кошке, — ты нам не нужна. Мы передаём тебя священнику. Знаете ли вы, кто такой священник?

— Священник — это человек, — сказала кошка, — который зарабатывает себе на жизнь, пытаясь убедить других поверить в то, во что они сами не могут поверить. Часть этой

веры состоит в том, чтобы обеспечить существование священников.

— Вот видите, — ехидно сказал журналист изумлённому священнику, — абсолютно логичное мышление.

— Извините, я не понимаю. Что вы хотите от меня?

— Это уже было в какой-то степени объяснено вам кошкой. По самой природе своей профессии вы склонны верить в те вещи, в которые другим трудно поверить. Только без обид. И эта кошка в некотором роде одна из таких вещей. Если вы будете так любезны взять её себе. Мы не имеем к ней никакого отношения.

— О, я понимаю. Ну, да. Конечно, совершенно неожиданно... Это было бы необходимо... Я имею в виду, на случай, если вы не знаете, у животных нет души. Вот чему учит церковь. И я как священнослужитель... Я имею в виду, извините, как кошка разговаривает? Это что, какая-то научная шутка?

— Это не шутка, и не научная. Она просто говорит. И вдобавок ко всему, она говорит странно.

— Ага. Только, насколько мне известно, животные не разговаривают. Это не принято. Особенно мёртвые. Впрочем, не исключено, что дьявол... но я с этим ещё не сталкивался. И я был здесь викарием в течение сорока лет. Если, конечно, церковь не причастна к данному событию, то мы не являемся свидетелями чуда.

— Так это вы можете засвидетельствовать. Не хотите ли вы её о чём-нибудь спросить? Чтобы убедиться в этом самому.

— Ну, пожалуй, — согласился священник, осторожно приближаясь к кошке.

— Ты слышишь меня, существо?

— Ты меня слышишь?

— У неё не всё в порядке со спряжениями, — поспешил журналист, чтобы священник не решил, что кошка издевается и снова не разозлился.

— Ты пришла от Бога или от дьявола?

— Ты приходишь от кошек. Мой отец был котом, моя мать — кошкой. Однако люди часто дают имена животным.

— О, ну, нет. Верите ли вы в бессмертие души?

— Ты мёртв, а мёртвые не могут верить. Ты не понимаешь первую половину вопроса.

— Как-то... Верно. Действительно, мёртв. Послушай, что будет после смерти?

— Смерть — это нечто большее, чем она сама по себе.

Священник покачал головой и снова ткнул кошку пальцем.

— Послушайте, уважаемые, и... и это ваша кошка?

— Так или иначе, она было дано мне, — признался журналист.

— Пожертвование. Да. Я это понимаю. Только до тех пор, пока я не предоставлю ей убежище здесь... простите, какое отношение это животное имеет к нынешнему строю?

— Никакое, — ответила кошка. — Ты мёртв. У тебя не может быть убеждений.

— Это похвально, — улыбнулся смущённый священник, который забыл, что он не в исповедалине. Но потом он одумался.

— Я имею в виду, — поправил он себя, — как я должен это принять?

— Тебе это неинтересно, — сказала кошка. — Тебя ничего не интересует, и поэтому тебя не интересует нынешний строй. Тебе не нужна пища для существования.

— Мне это нужно, — спонтанно возразил священник, забыв под влиянием сверхъестественного, о странностях грамматики мёртвой кошки.

Наступила гробовая тишина.

— Знаете, уважаемые, — викарий несколько раз прошёл по комнате, — это было сказано под влиянием момента. Церковь учит, что мы должны обеспечивать защиту Божьим созданиям, что является правдой, и, кроме того, призывает нас хоронить мёртвых по-христиански. Но, на мой взгляд, это не Божье создание, потому что, хотя оно и говорит, оно не исповедует Бога устами, и оно также не мертво, потому что оно говорит. Так что всё, что я могу сделать, это попытаться изгнать из неё дьявола. Но, честно говоря, вы настаиваете на этом?

— Ни в коем случае, — заверил священника доктор Маршалек. — Всё на ваше усмотрение. Мы принесли её вам, и вы можете оставить его себе.

— Ну, видите ли, я не могу сделать это. Вы понимаете, что мёртвая кошка — а вы, как и она сама, утверждаете, что она мертва, — не принадлежит к моим верующим. Забота о её душе и теле не входит в обязанности моей церкви. В конце концов, даже если бы она была жива, это не имело бы значения. Кошка говорит вещи, с которыми я не могу согласиться как священник, и которые, с другой стороны, я не должен слушать как гражданин.

И врач, и журналист почувствовали, что всё идёт не совсем так, как они ожидали.

— Значит, вы заберёте её?

— Не сердитесь, прошу вас, но зачем она мне нужна? Что бы я делал с ней здесь? Времена сейчас серьёзные. Могу вам посоветовать поместить её в приют для животных. Или, если вы попросите решения у церковных властей, отнесите кота в консисторию. Я просто старик, и да простит меня Бог, я хочу покоя. Кроме того, у меня есть желчный пузырь, так что я не могу подрывать своё здоровье сверхъестественными явлениями.

— Вот видишь, — упрекнул журналист, когда старушка заперла за ними ворота дома священника, — это было бесполезно. И им она тоже не нужна. Она не является устами Божьими.

— Прекрасно, — раздражённо прорычал доктор. — Падре, я принёс вам гуся, да. А как насчёт мёртвой кошки?

— Я не пойду в консисторию, — уверенно заявил журналист.

— Мы должны куда-то пойти с ней!

— Я больше никуда не пойду, — заявил журналист. — Кошки не говорят. Её надо немедленно уничтожить.

Он подошёл к перилам моста и, наклонившись над водой, покрутил кошачий хвост.

— Не вздумайте, — запротестовал доктор, поспешно хватая кошку за голову, чтобы предотвратить худшее. — Вы не имеете права разрушать то, что не создавали.

— Я умываю руки, — заявил журналист, с отвращением снимая кошачий волос со своего пальца. — Теперь за неё отвечаешь ты!

— Я не буду. Я не желаю отвечать за неё, но я не позволю её уничтожить. Поймите это, она не может ничего сделать, кроме того, что говорить, потому что она мертва. Это не её вина. Она недостаточно жива для нас, а мы недостаточно мертвы для неё, вот и всё.

— Я предупреждаю тебя, Фердинанд, что ради неё я не намерен совершать самоубийство, физическое или экзистенциальное, дабы сблизиться с ней. Что ещё тебе от неё нужно?

— Это ясно. Нам нужно найти кого-то или что-то, у кого есть как можно больше точек соприкосновения с ней. Что-то заикленное в развитии и, следовательно, мёртвое. Мы слишком живы, чтобы иметь с ней дело. У меня есть идея, я думаю, что это может сработать.

— Возможно, — сказал журналист, а потом испугался. Мысль о том, в каких различных учреждениях и институтах праведный доктор Маршалек мог бы искать сведения, необходимые для нейтрализации зловещей кошачьей правды, и о чём там будет лепетать мёртвое животное, показалась ему слишком ужасной. Журналист был практичным человеком. Он не собирался спасать человечество, тем более кошку. Он извинился и убежал.

Доктор Маршалек сидел на перилах моста и задумчиво гладил чёрную как смоль кошачью шерсть. Он обхватил круглую голову мёртвого животного обеими руками и уставился в неподвижные жёлтые глаза.

— Скажи мне, блудня, что ты на самом деле задумала?

— Ничего страшного, — сказала кошка. — Я никогда ни о чём не беспокоюсь. Только конец жизни неизбежен рано или поздно. И ничего не может отменить этот факт. Попытки изменить только напрягают.

— Поэтому я думаю, — холодно произнёс доктор Маршалек, — что я нашёл для тебя место, где ты найдёшь истинное признание. Ты определённо скорее мертва, чем жива для этого мира.

Он засунул кота под пальто и направился через мост. Он насвистывал и радовался, как могут радоваться только праведники.

Настоятель монастыря сидел на террасе, щурясь от заходящего солнца. Молодой монах почтительно склонил голову и спрятал лицо в складках оранжевой мантии.

— Святой отец, — прошептал он и благоговейно пошаркал сандалиями.

— Говори, святой брат, — сказал настоятель, не меняя позы.

— Святой отец, — сказал монах, — твоя мудрость будет нашим советом. Посланник пришёл к воротам и принёс странный подарок из страны дьяволов.

— Многие вещи кажутся странными, когда ты молод. Что содержится в подарке?

— Мёртвая кошка, святой отец. Мы не знаем, что делать.

— Отнеси кошку на кухню, святой брат. Смиренно мы превратим её тело в пищу, ибо мы не виноваты в её смерти.

— Святой отец, — заколебался монах, — кошка пришла в обёртке с дьявольскими письменами. Обёртка порвана, но сама кошка не тронута, и слова нашей речи выходят из её рта. Её ответы на вопросы, что задавали ей мы вместе с другими святыми братьями, посеяли смятение в наших сердцах и вложило слова удивления в наши уста. Святой отец, кошка говорит...

Настоятель поднял руку медленным, усталым движением, и рукав его одеяния развевался по ветру.

— Святой брат, — ласково сказал он, — нехорошо тратить время, бегая и напрасно размышляя над словами мёртвого животного. Мы не можем уничтожить его тело, потому что мы помешали бы ему сказать то, что она хочет сказать. Но пойди и отнеси кошку в комнату, где мы храним сломанные

молитвенные мельницы и погремушки, которые больше не издают звуки. Святой брат, при всём уважении к твоей мудрости, как может человек, заинтересованный в том, чтобы родиться от человека, который также был сыном человеческим, как он может интересоваться чем-то, что исходит из разума и рта дохлой кошки?

Mrtvá kočka, 1961

Перевод: А. Ланудев

Иллюстрация: С. Дуда



ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Как-то вечером штабс-капитан Микис изучал в своей канцелярии план строевых занятий. Его заместитель, поручик Шамай, сидел напротив и с наслаждением ковырял в носу. Шамай частенько погружался в это занятие. При этом он говорил: «Перед нами стоит много задач».

Солдаты-словаки прозвали его Козьявкой. Поручику это прозвище очень не нравилось. Он собирался было пересажать на гауптвахту добрую половину солдат словацкого происхождения, но штабс-капитан отговорил его — ведь это могло быть истолковано как национальное угнетение. А генерал Сыровы, герой Зборова, ясно сказал, что политике в армии не место.

Штабс-капитан Микис свернул трубочкой план строевых занятий и принялся рассматривать, словно в подзорную трубу, отдельные предметы в своей канцелярии. Получалось забавно, и штабс-капитан решил, что жизнь, собственно говоря, прекрасна.

В его поле зрения очутился муравей, который медленно полз по полу. Микис присел на корточки и стал недовольно разглядывать муравья. Муравью не положено ползать в казармах...

Тут в коридоре кто-то пронзительно вскрикнул и громко затопал тяжёлыми сапогами. В дверь канцелярии ввалился дневальный. Он был без головного убора, глаза его вылезали из орбит. Штабс-капитан понял, что уже поздно делать вид, будто он выполняет служебные обязанности, и потому накинулся на солдата:

— Лезете сюда, словно в хлев, — сказал он грозно.

Дневальный что-то пролепетал, указывая пальцем в коридор.

Штабс-капитан Микис поднялся.

— Вон отсюда! — гаркнул он.

Вместо того чтобы немедленно ретироваться, дневальный втиснулся между шкафом и несгораемым ящиком с самыми секретными документами, издавая какие-то нечленораздельные звуки.

Штабс-капитан Микис был глубоко убеждён, что все солдаты, без исключения, глупы. Тот, кто не окончил военной академии, не может быть образованным человеком. Сам-то он был достаточно образован.

— Что ещё там такое? — брезгливо опросил он.

— Оно, — еле выдавил из себя дневальный.

Штабс-капитан в недоумении покачал головой и поспешно вышел в коридор.

В коридоре стоял призрак. Полупрозрачный и необычайно безобразный, с измождённым лицом и выпученными глазами, горящими зеленоватым светом. На лоб свисал чуб слипшихся бесцветных волос. Заметив штабс-капитана Микиса, привидение подняло серую руку с длинными пальцами и протяжно застонало.

Призрак ошеломил штабс-капитана. Он ещё никогда не видел такого безобразного явления как призрак, хотя за время службы в армии насмотрелся на всяческие безобразия.

— Что вы тут дурака валяете? — спросил он несколько неуверенно.

— У-у, — ответил дух, улыбаясь лиловыми губами.

Офицер подумал было, что стал жертвой розыгрыша и собирался немедленно покончить с мистификацией. Но тут он заметил, что ноги призрака оканчиваются какой-то расплывчатой туманностью и сантиметров на десять не достигают пола. Это привело штабс-капитана в замешательство, и он сказал себе, что поведение его до сих пор было, очевидно, неправильно: присутствие призрака в расположении части явно незаконно.

Следовательно, он, Микис, должен трижды окликнуть: «Стой, кто идёт?» — и затем применить оружие. Микис умел исправлять свои ошибки.

— Стой! Кто идёт? — воскликнул он, и в голосе его прозвучал металл.

— У-у, — ответил призрак.

Тут Микис спохватился: за оружием надо вернуться в канцелярию, оно не заряжено, а дух тем временем может скрыться. Поэтому штабс-капитан выпятил грудь и пошёл навстречу призраку. Тот, простонав, замахал отвратительными ручищами, словно собачонка, которая стоит на задних лапах и выпрашивает сахар.

— Что вы делаете? — спросил штабс-капитан Микис.

— Пугаю, — ответил призрак голосом, похожим на ветер, завывающий между столбами виселицы, — всякому дураку ясно.

Штабс-капитан нашёл, что подобное сравнение может подорвать его командирский авторитет.

— Смирно! — рявкнул он в бешенстве.

Призрак команду не выполнил, а заколебался, как пламя свечи. Тогда штабс-капитан решил испробовать метод убеждения.

— Послушайте, я вас не боюсь, — сказал он.

— А мне наплевать, у-у, бл-бл-бл, — ответил призрак, закатывая под лоб страшные глаза.

Такое пренебрежение оскорбило офицера. И поэтому он решил не компрометировать себя дальнейшим разговором, круто повернулся и ушёл в канцелярию. Там он застал поручика Шамаю в разгаре воспитательной работы. Поручик пытался разъяснить дневальному, что, входя в комнату, где находятся командиры, следует стать «смирно», а затем принялся демонстрировать, как он сам образцово стоит навтыжку. При виде такого дурашливого офицера дневальный малопомалу пришёл в себя и даже немного повеселел.

Штабс-капитан Микис намеревался было немедленно выгнать солдата из канцелярии, чтобы поговорить с поручиком Шамаем с глазу на глаз. Однако, сообразив, что солдат, напуганный призраком, пожалуй, ещё не подчинится его приказу, изменил своё решение.

— Послушай, Шамай, — обратился он к своему заместителю, — по коридору-то бродит дух!

Поручик Шамай, став «вольно», спросил:

— Кто-о?

— Дух, — ответил Микис.

— Где?

— Да в коридоре!

— Какой дух?

— Страшный! Хочешь, сам погляди!

— Не может этого быть, — возразил поручик Шамай,
— духов не существует!

— Как это не существует? — обиделся штабс-капитан. Он не переносил, когда в присутствии нижних чинов выражали недоверие к его словам. — Я сам говорил с ним.

— И что же он тебе сказал? — спросил Шамай.

Штабс-капитан не был уверен, что сумеет точно воспроизвести речь духа, но понимал, что она прозвучала бы не в его, Микиса, пользу. Поэтому он не ответил на вопрос своего заместителя. Это позволило поручику прийти к выводу, что вопрос исчерпан.

— Вы свободны, — сказал он дневальному.

Дневальный ощутил прежний ужас при одной мысли, что должен вернуться в коридор, к призраку, и задрожал как осиновый лист.

— погоди, не выгоняй его, — заступился за несчастного штабс-капитан, — я же сказал тебе, что в коридоре дух.

— Какой дух? — торопливо переспросил Шамай.

— Призрак, — пояснил штабс-капитан, — ну, привидение, дух, словом, призрак, — определил он.

— А что он там делает? — заинтересовался Шамай.

— Пугает, — ответил Микис, вспомнив объяснение духа.

У поручика Шамаева отвисла нижняя челюсть.

— Та-ак, — протянул он растерянно. — Как же нам быть?

На этот вопрос мог ответить лишь начальник.

— Я поговорю с духом, — придумал в конце концов штабс-капитан и в сопровождении своего заместителя снова вышел в коридор.

Призрак, увидев офицеров, омерзительно заскулил. Штабс-капитан поспешил взять слово, опасаясь, что тупость поручика Шамаева может разозлить привидение.

— Почему вы пугаете? — спросил он.

— Потому, что обязан, — противно прохрипело страшилище. — Вы, может, думаете, что это доставляет мне удовольствие?

На этот вопрос было трудно ответить, и казалось, что разговор опять застрянет на мёртвой точке. Но неожиданно поручик Шамай проявил находчивость и вдруг спросил:

— Вы только здесь пугаете?

— Здесь, — подтвердил призрак, — здесь и ещё в нужнике.

— Почему же именно там? — спросил задетый за живое штабс-капитан Микис, ибо предметом гордости его роты было как раз отхожее место.

— Потому что я там повесился, — ответил призрак, и воспоминание об этом печальном происшествии вызвало новые жалобные завывания и стоны.

Штабс-капитан Микис испугался ещё больше. Но не призрака, а одной мысли, что ему придётся давать объяснения по поводу такого чрезвычайного происшествия, как самоубийство, в расположении его роты.

— Ради бога, скажите, когда? — слабо пискнул он.

— Сто лет назад, — ответил дух.

Этот ответ успокоил офицера Микиса: в то время он ещё не командовал ротой.

— И часто вы пугаете? — полюбопытствовал он.

— Нет, только изредка, — послышался успокоительный ответ.

Тут опять вмешался поручик Шамай. Он счёл, что разговоров хватит и пора разойтись по домам. Но как же быть с призраком?

— И долго вы ещё предполагаете сегодня пугать? — деловито спросил Шамай.

— Одну минуту, — ответил призрак.

Он вдруг застонал, закачался, взвыл от души, высунул длинный язык и растаял в дверях уборной.

Призрака будто и не бывало.

Штабс-капитан ещё раз обошёл вверенную ему территорию, потом сменил дневального, которого после такого

нервного потрясения пришлось отправить в санчасть, и вышел со своим заместителем из казарм.

Всю дорогу они не проронили ни слова и так же молча сели за стол в пивнушке. Офицер Шамай выпил пива, а офицер Микис коньяку, поскольку был взволнован. Он расстегнул даже воротник, чего никогда не позволял себе.

— Вот это да! — произнёс через некоторое время поручик Шамай.

— Что «да»? — решительно спросил штабс-капитан.

Офицер Шамай, как водится, сам не знал, что хотел сказать своими словами, и растерянно уставился на указательный палец правой руки.

— Фу! — одёрнул его штабс-капитан, после чего поручик Шамай положил обе руки на скатерть, как благовоспитанный пай-мальчик.

Опять воцарилось долгое молчание. Наконец штабс-капитан внёс предложение использовать призрак как самое подходящее наглядное пособие при обучении штыковому бою. Но поручик Шамай отверг это предложение.

— Такой только пугать горазд, а от строевых занятий ему какая радость? Самое лучшее — опечатать отхожее место и на том успокоиться.

Но штабс-капитан Микис решительно воспротивился. При предстоящем инспекционном смотре он все свои надежды возлагал именно на нужник. Вдобавок поручик Шамай усилил терзания штабс-капитана, напомнив ему:

— О призраке придётся доложить по начальству. Появление духа — чрезвычайное происшествие, и замолчать его не удастся.

— Боже мой! — простонал Микис.

— Да, да, — сказал Шамай, — надо всё объяснить: как, почему...

Штабс-капитан потребовал ещё порцию коньяку.

— Может быть, он больше не придёт, — успокаивал его поручик.

— А если придёт? — высказал свои опасения штабс-капитан.

Оба они понимали, что тогда им несдобровать. И оба впали в уныние, потому что очень боялись своего начальства.

— А я знаю, что делать, — возликовал вдруг штабс-капитан Микис. — Я придумал. Слушай внимательно, это будет отлично. Сделаем вид, что призрака... нет.

— Как это? — в недоумении воскликнул его заместитель, который в это время вспоминал топографию Подкарпатской Руси³, особо останавливаясь на дислокации самых глухих гарнизонов.

— Да вот как. Мы сделаем вид, будто его нет и никто его не видел. Никакой нормальный человек призраков не видит, ведь их же не существует. Понятно?

— Ну, хорошо, — нерешительно согласился поручик, — а если его всё-таки кто-нибудь увидит?

— Кто его увидит, того мы накажем, — уверенно сказал штабс-капитан Микис и застегнул воротник. — За распространение панических слухов и подрыв воинского духа. Ясно тебе?.. Официант, получите!

— Разумеется, накажем! — обрадованно воскликнул поручик Шамай, потому что на этом деле он собаку съел. — Призраков не существует! — провозгласил он в восторге. — Именно так. Перед нами столько задач, а тут ещё и призрак!

При упоминании о «задачах» его палец невольно потянулся к носу.

Mimořádná událost, 1961

Перевод: В. Чешихина

Иллюстрация: С. Дуда



³ Закарпатская Украина.

Домовой Мостильщика Гоуски

Во вторник мостильщик Гоуска напился. Это было событие исключительное, потому что обычно он, как всякий порядочный человек, напивался в субботу. Но в тот вторник шёл дождь, и Гоуска ничего иного не мог придумать. Сначала дождь моросил, потом усилился, а когда в половине двенадцатого ночи Гоуску выпроваживали из закуской «У короля Пршемысла», дождь лил как из ведра. Мостильщик Гоуска пнул ногой спущенную на окно закуской штору, Подтвердив тем самым своё моральное превосходство над официантами, поднял воротник пальто и зашагал домой. Фонари мерцали в мокрой ночи, и вода журчала в водосточных трубах, стекала с деревьев и крыш. Когда Гоуска пытался всунуть ключ в замочную скважину входной двери, он увидел лежащее под водосточной трубой яйцо. Яйцо было белое, в чёрную крапинку и блестело под струйкой воды, которая лилась прямо на него. Оно было самое обыкновенное, с одного конца заострённое, чуть побольше куриного. Мостильщик Гоуска поднял его и сунул в карман, так как в отличие от курицы считал, что яйцо создано для того, чтобы его съесть.

Придя домой, он сначала исчерпал весь запас известных ему ругательств, потому что в коридоре ободрал ногу о корыто, а потом завалился, не раздеваясь, спать, чувствуя, что при малейшем движении его начнёт тошнить.

Утром его мучила жажда, и он встал. На перине лежали кусочки скорлупы, белой, в чёрную крапинку. Гоуска вспомнил о яйце, которое вчера ночью нашёл под водосточной трубой, а во сне, вероятно, раздавил. Он поднял перину в надеж-

де найти остатки содержимого. Под периной сидел чёрный цыплёнок, довольно противный, с длинной шеей и зелёными глазами. Зябко поёживаясь, он прижимался к тёплой постели.

Того немногого, что Гоуска знал о последствиях алкоголизма, было достаточно, чтобы испугаться. Гоуска попятился и глухо застонал. Но, пока он готовился выдержать суровую внутреннюю борьбу со своим разумом, надеясь принять эту печальную новость с подобающей мужчине твёрдостью, цыплёнок соскочил с постели и, чуть переваливаясь на косяках ножках, направился к умывальнику, где мостильщик Гоуска замочил носки. Цыплёнок сделал глоток, закашлялся, потянулся и похлопал крыльями, на которых выразительно топорщились будущие перья.



Гоуска был уверен, что у него галлюцинации.

— Напи-пи-пи... — пробовал произнести он.

Цыплёнок смерил его взглядом.

— К чему такие нежности, — сказал он иронически, — лучше накроши мне хлеба, я голоден!

Второй приступ отчаяния кончился воплем.

— Ой-ой-ой! — причитал Гоуска. — Я сойду с ума, не выдержу я этого!

— Не ори, — сказал с омерзением цыплёнок. — Кому доставляет удовольствие с утра слушать твои вопли? Нечего меня рассматривать, пойдя принеси хлеба. Ты должен меня кормить, раз ты меня высидел.

— Как это высидел? — робко спросил Гоуска.

— Своим задом, дружок, своим задом, — довольно сухо сказал цыплёнок. — Я не просто цыплёнок, я — Домовой. Давай скорее хлеба да пойдём на работу!

Мостильщику Гоуске было неясно, что такое Домовой. Он рассуждал: Домовой — это, по-видимому, существо, которое заставляет работать, и посему размышлял, как бы от него избавиться. Но так как он его боялся, то принёс хлеба и вышел из дома вместе с Домовым. По дороге Домовой тактично молчал, да и Гоуске не хотелось разговаривать. На перекрёстке горел красный светофор. Гоуска остановился, но Домовой пролетел между машинами и ждал его на другой стороне. Регулировщик вышел из кабины и подошёл к Гоуске.

— Вам следует знать, что птица не может в городе бегать сама по себе, её нужно носить в корзине или по крайней мере в руке и держать за ноги. Запомните это, а то заплатите штраф!

На другой стороне тротуара Гоуска взял Домового под мышку, но тот проворно клюнул его.

— От тебя несёт перегаром, — сказал он. — Пусти меня на землю и иди быстрее, а то опоздаешь!

Придя на работу, мостильщик Гоуска отошёл в сторону от остальных, боясь показать Домового. Домовой уселся на забор и наблюдал за работой Гоуски.

— Что это? — спросил он через несколько минут.

— Это мозаичная мостовая, — объяснил Гоуска. — Сначала насыпаю песок с известью, туда кладу вот такой камушек, красный или чёрный, выкапываю ямку, по камушку сверху стукну и беру следующий. Когда всё готово, посыпаю сверху известью, поливаю водой и размазываю щёткой.

— И это всё? — пренебрежительно спросил Домовой.

— Всё, — подтвердил Гоуска. — Но они должны быть ровными.

Домовой соскочил с забора.

— Подвинься, — сказал он. Из кучи камней взял клювом один, ножкой выкопал в песке ямку, воткнул камень и стукнул по нему жёлтым клювом, как сапожник по подошве.

Потом поёрзал голым задком, чтобы камень крепче сидел, и побежал за следующим.

Если бы Гоуска мог ещё чему-нибудь удивляться, он, конечно, пришёл бы в ужас от того, как цыплёнок, на первый взгляд такой слабенький, справляется с мозаичной кладкой. Пять метров были готовы, прежде чем Гоуска успел выругаться.

— Вози! — орал Домовой. — Известь, песок, мозаику! Чтобы мне далеко не бегать!

Гоуска послушно нагнулся за тачкой, а Домовой тем временем бегал по вымощенной дороге и постукивал по торчащим камням.

— Поливать будешь сам, — приказал Домовой, — потому что это меня задерживает.

Пока Гоуска бегал с ведром за водой, цыплёнок равномерно крыльями размазал известь по мостовой.

К десяти часам Гоуске стало жарко. Он уже целиком попал в зависимость к Домовому и обратился к нему за разрешением пойти выпить пива.

— Никакого пива! — отрезал Домовой. — Сейчас рабочий день — и работай. Да клади больше извести, а то здесь один песок.

Гоуске ничего не оставалось, как напиться воды из ведра.

В одиннадцать часов приехал на мотоцикле мастер. Когда Домовой его увидел, он вскочил на забор и принялся счищать с коготков остатки извести. Мастер не обратил на него внимания и окинул взглядом готовую работу.

— Это за сегодняшний день? — спросил он Гоуску.

— Да.

— А с которого часа ты здесь?

— С шести.

— Ах, с шести? И ты столько сделал? Рассказывай сказки! — буркнул мастер, сел на мотоцикл и уехал.

— Возить! — закричал Домовой и соскочил с забора. В два часа Домовой разрешил пошабашить. Измученный работой, вчерашним перепоем, невозможностью выпить пива сегодня, Гоуска, придя домой, мечтал о постели.

Но прежде он должен был крошить хлеба для Домового. Домовой запил хлеб водой из умывальника и проворно заскакал по комнате.

— Сколько мы заработали сегодня? — спросил он. Гоуска подсчитал в уме:

— Двести шестьдесят крон.

Домовой промолчал.

На следующий день они заработали уже триста двадцать. Мастер налетел на Гоуску.

— Вы все думаете, что я ничего не знаю! — гремел он. — Но я хорошо понимаю, что старый Познер получает тысячу двести крон пенсии и ему не хватает на водку. Поэтому утром он ходит помогать другим, а потом с ними делится, чтобы у него не сокращался доход. Но я не такой дурак и покрывать вас не буду. Нет-нет, вы меня ещё узнаете!

— Зачем ты всё это делаешь? — спросил Гоуска цыплёнка после работы.

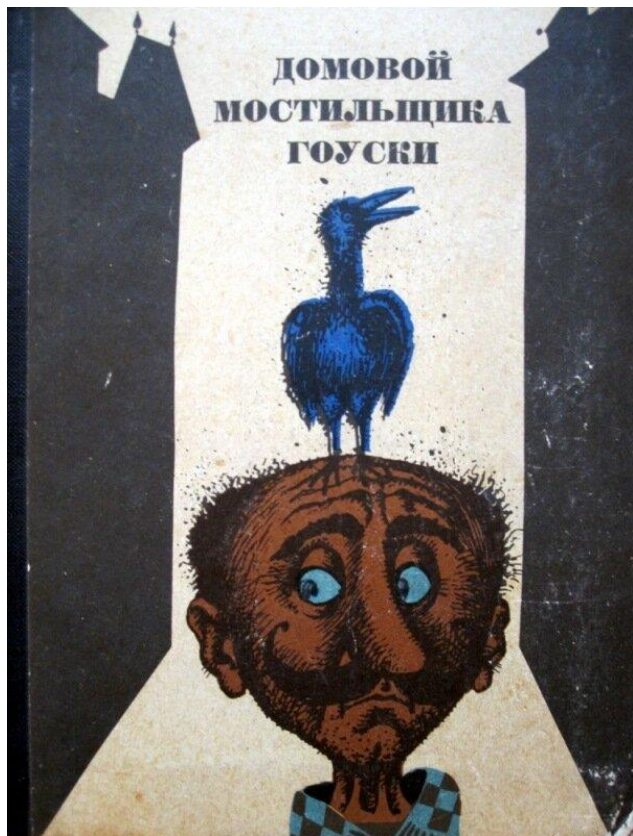
Домовой удивился такой наивности и объяснил, что служит тому, кто его высидел, что для него, Домового, это само собой разумеется. Он старается, чтобы его хозяин разбогател. Если его хозяин ремесленник, Домовой за него работает; если торговец, носит ему товары, а в кассу — деньги; если офицер, Домовой за него командует; если служащий, подпирает ему голову во время работы, чтобы тот не ударился о стол.

Мостильщик Гоуска хотел узнать, не мог бы Домовой ему тоже носить деньги. Домовой, однако, отказался, объяснив, что Гоуску посадили бы в тюрьму, а он, Домовой, должен был бы за него позванивать цепями. Гоуска истолковал это по-своему, потому что предполагал, что Домовой набивает себе цену, и за целый вечер не сказал ему ни слова. Они поужинали в полном молчании, после чего Домовой устроился на постели.

На следующий день бригада, которая работала в другом месте, послала мостильщика Каливоду, чтобы он посмотрел, не болен ли Гоуска, поскольку тот перестал ходить «на пиво». Каливода, приблизившись, увидел, как чёрный цыплёнок мостит улицу, а сам Гоуска возит материал и воду. Это ему по-

казалось странным, и он позвал остальных мостильщиков. Они некоторое время с интересом наблюдали за стараниями Домового, но, когда увидели темп его работы, возмутились и стали выговаривать Гоуске, что его цыплёнок завывает нормы и что так никто ничего не заработает. Обвинили его также в несолидарности и трезвости.

Мостильщик Гоуска защищался. Он показал на Домового, который не принимал участия в дебатах, потому что без усталости работал, а когда у него кончилась работа, стал сортировать камни на красные и чёрные. Домовой вызвал всеобщую антипатию, и мостильщик Каливода бросил в него камнем. Домовой вовремя отстранился, одним взмахом своих полуперённых крыльев взлетел на голову Каливоды и отомстил ему.



Из-за ужасной вони Каливоду не пустили в трамвай, и ему пришлось идти домой пешком; по той же причине он на следующий день пришёл поздно на работу, потому что жил почти у Кобылие. В полном замешательстве он сказался больным и бродил целый день по городским свалкам, потому что домой его не пускала жена, а пойти в забегаловку он не смел.

Остальные, устранившись судьбы Каливоды, оставили всякие попытки преследовать Домового. Они отправились в пивную, чтобы посоветоваться. Домовой тем временем работал без устали и повысил заработок Гоуски за смену до трёхсот шестидесяти семи крон и восьмидесяти геллеров. Прохожих, которые наступали на незасохшую мостовую, он сам не ругал, чтобы не вызвать переполоха, а принуждал к этому Гоуску. Если Гоуска ругался, по его мнению, слишком добродушно, Домовой его отчитывал.

Мостильщики тем временем послали из пивной делегатов в управление, чтобы на Гоуску воздействовал управляющий мостовыми. Когда управляющий услышал о работяге цыплёнке, он подумал, что оказался жертвой дурацкой шутки, и выгнал делегатов.

После длительного хождения и стояния на тротуарах депутация наткнулась на заведующего отделом труда и заработной платы и категорически потребовала проверить зарплату Гоуски. Когда была названа цифра, заведующий поднял глаза к потолку. Затем вместе со своими заместителями, нормировщиками, контролёрами и хронометражистами отправился на место работы мостильщика Гоуски. Гоуску и Домового они застали в разгар работы, потому что Домовой решил заработать в этот день четыреста крон.

Заведующий отделом труда и заработной платы, несколько опомнившись от испуга, обратил внимание Гоуски, что ему будет снижена оплата, потому что он выполняет подсобную работу, в то время как всю основную работу делает цыплёнок, который к тому же для этого недостаточно квалифицирован. Гоуска, инструктированный Домовым, — тот после конфликта с Каливодой предполагал возможность известных затруднений — ответил, что в таком случае работа должна

быть оплачена Домовому, за которого он, Гоуска, вполне отвечает. И по собственной инициативе добавил, что о качестве работы Домового этот лодырь заведующий отделом труда и зарплаты — судить не может.

Заведующий отделом труда и зарплаты вернулся со своими помощниками в канцелярию и в отделе кадров потребовал, чтобы Домового приняли в штат, дабы он мог включить его в ведомость на зарплату. Отдел кадров, однако, отказался от этого предложения ввиду невозможности заключить с Домовым контракт, пока тот не предъявит подтверждения о расторжении прежнего трудового соглашения. При такой постановке вопроса возникла следующая проблема — не является ли Домовой, как собственность мостильщика Гоуски, представителем частнособственнического сектора. Заведующий отделом труда и зарплаты, преследуемый призраком постоянно растущего заработка Гоуски, пустился на поиски главного инженера.

Главный инженер сидел в своём кабинете и курил трубку. На нём была кожаная куртка и клетчатая рубашка — именно такие, как на всех инженерах во всех кинофильмах. Главный выслушал претензии с серьёзным видом и обещал рассмотреть этот вопрос. Затем вызвал к себе мастера-мостильщика, которому подчинялся Гоуска, и сказал ему:

— Мы должны вместе решить эту проблему. Как обстоят дела у Гоуски?

— Ну, Гоуска хороший рабочий, ничего не скажешь.

— Конечно, но такие заработки он не может иметь!

— А если он хорошо работает? — заметил мастер растерянно.

— Погодите, не болтайте! Мне и так всё ясно.

— Если так, то я вам скажу, потому что вы человечный человек и имеете понятие. Он меня тоже просил, этот старый Познер, у него небольшой доход, а ребята запишут работу на себя. Люди мы или нет?

— Это меня не интересует, — решительно заявил инженер. — Что с этим цыплёнком?

— Ах, относительно цыплёнка? Но мне никто не давал никакого цыплёнка. Я ни у кого ничего не беру, потому что

это не разрешается. Иногда кружку пива, просто не хочу обидеть ребят, но цыплёнка, нет, не брал, я бы помнил, если бы брал.

Теперь главный инженер не знал, как отделаться от мастера, всё ещё что-то бормотавшего, и решил созвать внеочередное собрание. На собрании он обрисовал создавшееся положение. Все удивились, но не слишком. Кто удивляется слишком, тот выдаёт свою неопытность.

Руководство, конечно, решило, что трудовой энтузиазм удивительного цыплёнка надо использовать в интересах производства. Тут встал вопрос, можно ли его зачислить в штат, если это не запланировано и ассигнования на этот год уже исчерпаны. Заведующий отделом труда и зарплаты также обратил внимание присутствующих на то, что, судя по темпам работы цыплёнка, ему нельзя платить по существующим нормам. Нормы на оплату работы цыплят в строительных организациях ещё не были предусмотрены.

Таким образом, всё оказалось не так просто. Интерес к Домовому поэтому внезапно исчез, и на стороне прогресса остался только один инженер. Ему в Домовом понравилось то, что на других предприятиях Домового не было, и он бросился в наступление, утверждая, что без Домового не сможет обеспечить выполнение плана. А поскольку все знали, что это зависит не от инженера, то никто не испугался. На сторону главного инженера неожиданно перешёл юрисконсульт.

Юрисконсульту, как известно, цыплёнок был ни к чему, но он всегда быстро соображал. Поэтому он и выступил с предложением считать Домового средством механизации, тогда предприятие выкупит его у Гоуски и передаст отделу механизации. Это всем понравилось, и предложение было принято с одной поправкой: дескать, для этой машины, то есть Домового, будут определены специальные нормы.

Против этого восстал начальник отдела механизации, но ему разъяснили, что в его ведение передают лишь одного Домового. Начальник на всякий случай заметил, что «это», безусловно, чушь и что «это» опять будет неисправно.

Ему разъяснили ещё раз, что такое Домовой, а его отговорка, что у него не зоопарк, была единогласно отвергнута, на чём и закончилось собрание.

Выкуп Домового поручили юрисконсульту, и он пригласил к себе мостильщика Гоуску. Гоуска пришёл в канцелярию без Домового. Тот всё ещё работал. Утверждение, что Домовой — это строительная машина, Гоуска опроверг и в качестве доказательства привёл тот факт, что Домовой жрёт и, следовательно, это живое существо.

Юрисконсульт моментально сбил Гоуску с толку.

— Вы такие вещи лучше не говорите, — советовал он Гоуске. — Тем самым вы признаёте, что эксплуатируете чужой труд. Это вряд ли принесёт вам пользу.

Гоуска сообразил, что это не принесёт ему пользы. Вопрос цены на Домового так и не был решён. Уничтоженный Гоуска выговорил себе разрешение подумать.

Вернувшись домой, он застал Домового в плохом настроении. Пересчитав ещё раз дневную выручку, тот выяснил, что до предполагаемых четырёмсот крон не хватает восьми крон двадцати геллеров. Виноватым он считал Гоуску и здорово его отругал за то, что тот во время работы где-то шляется.

Гоуска объяснил положение вещей. Домовой наотрез отказался работать на предприятие, поскольку оно его не высиживало, а на робкий вопрос Гоуски — не хотел ли бы он работать помедленнее, потому что такие темпы приведут всех к несчастью, — сердито начал летать по комнате.

Мостильщик Гоуска не сомкнул глаз всю ночь. Утром он пошёл в поликлинику и так как был утомлён работой и бессонницей, то получил бюллетень на два дня. Домовой, просмотрев листок нетрудоспособности, сокрушался о неожиданных финансовых потерях до тех пор, пока Гоуска под тем предлогом, что ему нужно купить лекарство, не ушёл из дому.

Вернулся он примерно через час и принёс под мышкой большого полосатого кота. Домовой между тем вымыл пол и был весь покрыт паутиной, потому что своими собственными перьями обметал потолок. Коту он не обрадовался, но позво-

лил себя успокоить уговорами, что всё будет хорошо. После этого на кота он вовсе не обращал внимания, только сожрал у него всю еду.

Кот не оправдал надежд Гоуски. Он залез под кровать, а после с голоду и страху перед Домовым удрал в окно — Домовой проветривал комнату.

Ночью Гоуску мучила горячка и тяжёлые сны. К утру он наконец заснул спокойно, но сон его был недолгим. Домовой стянул с него перину и заворчал:

— Вставай, принеси корыто и поставь воду, я буду стирать.

— Который час? — с трудом придя в себя, спросил Гоуска.



— Шесть, — ответил Домовой, — уже утро. Кто рано встаёт, тому бог подаёт, — назидательно произнёс он и с отвратительной проворностью заскакал по комнате.

Мостильщик Гоуска приподнялся на локте.

— У меня идея, — сказал он тихо. — Я придумал, как нам больше заработать. Подойди поближе, чтобы никто не услышал, а то испортят нам всю музыку.

Домовой вскочил на край постели, вытянул шею и наклонил голову к Гоуске. Тот вытащил руку из-под перины и сдвинул длинную, худую шею Домового. Он чувствовал, как шея крутится у него в руке. Домовой бил клювом, хрипел, метался и порвал когтями наволочку. Потом его движения стали слабеть, глаза затянулись пеленой и голова поникла.

Гоуска ещё минуту сдавливал его шею, потом отпустил. Домовой со стуком свалился на пол. Гоуска повернулся к стене, немного поворочался и заснул сном праведника.

Проснулся он поздно, в середине дня. Оделся, завернул тело Домового в газету и направился к закусочной «У короля Пршемысла». Там положил Домового на прилавок. Буфетчик осмотрел цыплёнка и, сбросив вниз, сказал:

— Двадцать.

Гоуска кивнул, сел в уголок к столу, заказал бутылку рома и приступил к делу. Когда в бутылке осталось совсем немножко, он поднялся и осторожно направился к прилавку.

— Дай-ка мне пару яиц, — сказал он буфетчику.

— Крутых?

— Сырых.

— Зачем они тебе?

— Я их разобью, — прошипел Гоуска, — разобью вдребезги. Ненавижу яйца. Растопчу все яйца! — заорал он на весь зал. Несколько завсегдатаев испуганно оглянулись и бросились расплачиваться.

— Иди лучше домой, — сказал буфетчик.

— Не пойду домой, не пойду домой, — повторял разбушевавшийся Гоуска. — И сегодня не пойду, и завтра не пойду, и послезавтра тоже не пойду, и буду прогуливать без всякого бюллетеня. И ничего не буду зарабатывать, и это будет здорово!

Буфетчик удивлённо покачал головой.

— Вообще ничего не буду зарабатывать, — мечтал Гоуска. Вот...

— Только не хвастайся, — раздался хриплый голос. Из-за спины буфетчика высунулась голова с зелёными глазами и бледным гребешком. — Не хвастайся, говорю, завтра кончится этот твой бюллетень, не опоздай же на работу. Да не забудь поставить печать, а то не заплатят денег.

Гоуска стремительно выбежал из трактира. Беспомощно прислонился он к фонарю, потом перешёл к стене. На углу улицы стояла статуя. Он направился к ней и у её пьедестала бросился со стоном на колени.

— Святой Тадеуш, спаси меня от дьявольского наваждения! — умоляюще бормотал он и тут же сказал такие слова, которые лучше не повторять, сказал их потому, что увидел статую, изображавшую не святого Тадеуша, а какого-то приматора.

Он чувствовал, что весь свет против него и что он выпил много рома.

— Господи, никто не мучается, как я, — жаловался он в голос, — такие окаянные мучения! И за что? Я курицы никогда не обидел!

В это время к нему на плечо упало что-то тёмное. Домовой, обретя равновесие, прошипел:

— Не ври, не ври, что не обидел! Кто мне свернул шею?

Мостильщик Гоуска склонил голову и застонал:

— Зачем ты меня обижаешь, что я тебе сделал?

— Ты свернул мне шею, — выговорил хмуро Домовой.

— А что же мне с тобой делать?

— Как это что со мной делать? Я ведь всё делаю сам!

— Это, конечно, так, — бормотал Гоуска. — Делаешь всё ты, а я мучаюсь. Разве это жизнь?

— Мучаться я за тебя не могу, — с отвращением произнёс Домовой, — этого я не умею. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы я делал за тебя всё на свете?

Гоуска завертел головой.

— Ты злой, — по-детски всхлипнул он.

— Ничего я не злой. Не могу я быть злым. Так же как не могу быть добрым. Я Домовой, а не ангел. Я такой, как есть, и делаю, что полагается делать Домовому. Это только ты можешь быть плохим или хорошим, потому что ты человек. А я только работаю на тебя.

— Что же должен делать я?

— Что хочешь, это не моё дело!

Гоуска поднялся и погрозил кулаком небу, затянутому тучами.

— Чёрт тебя раздери, несчастный цыплёнок, неужели я никогда не избавлюсь от тебя?

— А ты хочешь от меня избавиться? — Домовой удивлённо вращал блестящими глазами.

— Господи Иисусе! А как ты думаешь, зачем я свернул тебе шею?

— Откуда мне знать. Вы, люди, иногда бываете такие странные. Значит, ты правда хочешь от меня избавиться?

— Правда хочу. Истинный крест хочу. Хочу избавиться, хочу — ты удивляешься? Ты отравляешь мне жизнь!

— Нет, не удивляюсь. Это твоё дело, меня оно не интересуется. Если хочешь избавиться, то нечего сворачивать мне шею, а скажи: фу, фу, ты мне не нужен. Но обратно переиграть уже нельзя. Ну, так как?

— Фу, фу, — сказал Гоуска, — я не хотел тебя обидеть!

— Я знаю, это ты по глупости. Так что же, будешь избавляться?

— Фу, фу, ты мне не нужен, — решительно сказал Гоуска и ждал, когда разверзнется земля и поглотит Домового. Однако Домовой спокойно повернулся и пошёл. Удивлённый Гоуска последовал за ним.

— Послушай, ты! Что с тобой будет? — спросил он с любопытством.

Домовой повернул голову и посмотрел на него пустым взглядом.

— Ко-ко-ко! — закудахтал он.

— Ты, не дури!

— Ко-ко-ко...

Гоуска безнадежно махнул рукой. Начинало моросить. Он поднял воротник пальто и повернул к дому.

— ...дак-дак, — произнёс Домовой.

Он притулился к пьедесталу статуи, присел и без особого усилия снёс яйцо.

— Ко-ко-дак, — повторил он. Встал, отряхнулся и вскочил на голову статуи. Оттуда перепрыгнул на проволоку трамвайной линии, повис на ногах вниз головой и, помахивая крыльями, исчез в темноте.

Яйцо лежало у стены, белое, в чёрную крапинку, чуть больше куриного.

Начался дождь.

Plivník dlaždiče Housky, 1959

Перевод: И. Чернявская

Иллюстрации: В. Пивоваров, М. Несвадба, С. Дуда



БАЛЛАДА О ЧЕРДАЧНИКЕ

Под утро похолодало, выпала роса. Он осторожно выполз через приоткрытую раму слухового окна, мохнатыми крючками на заострённых пятках ухватился за черепицы и с блаженным вздохом подставил лунным лучам тощие конечности, похожие на паучьи. Погреться иной раз в лунном свете — вот единственное, что доставляло ему неподдельную радость. Насекомых, попадавших на чердак через слуховое окно, и росу, которую можно слизывать с мха, покрывавшего древние черепицы, он вовсе не почитал лакомством. Ему немного было надо. Анатомически он так был приспособлен к тому образу жизни, который вёл, что ему не приходилось затрачивать почти никаких усилий. Тощие, несоразмерно длинные ноги помогали ему легко перескакивать с одной крыши на другую или пробегать по мосткам, соединявшим трубы, а мохнатые крючки на пятках не давали скользить; что касается длинных рук, то, раскинув их в стороны, он мог пользоваться ими, как канатоходец шестом.

Прозрачные шары огромных глаз более чем наполовину выставлялись из орбит. Зато голова у него была сравнительно маленькая. Не так уж была она ему нужна. Он действовал без долгих раздумий, почти машинально, довольствуясь, в общем, тем, что просто существует. Днём он спал, забившись между стропилами, — и знал, что тут никто его не потревожит; просто из любви к движению он прыгал по окрестным кровлям, а потом отдыхал, подыскав ровное местечко, открытое лунным лучам. Давно уже ему не доставляло удовольствия, уцепившись ногами за карниз, свешиваться к мансардным окнам, чтобы протяжным воем «у-у-у!» и сверканием шаровидных глаз испугать семью, сидевшую за ужином, или бедную служаночку, которая, зажав в руке снятый чулок,

мечтала о гусарах. Мир изменился, но Чердачник оставался прежним, потому что обладал весьма небогатой фантазией. Он был прост. Он был старой школы.

И никогда он не ломал голову, зачем это люди время от времени лазают под покровом ночи через слуховые окна, таская на себе какие-то узлы. Он полагал, что это доставляет им удовольствие, — ведь он сам испытывал удовольствие от ночных прогулок по крышам; правда, прежде чем окончательно примириться с таким явлением — что произошло уже очень давно, Чердачник нет-нет да и задумывался, почему люди выбрали именно это развлечение, когда они так плохо видят в темноте. Однажды, много лет назад, он крикнул «у-у-у!» одному такому человеку с узлом; глупец перепугался и слетел с крыши. Потом Чердачнику пришлось долго кричать своё «у-у-у!», чтобы прогнать множество людей, которые под водительством толстяка в шляпе с пером и с лентой на поясе поднялись на чердак и принялись тыкать в щели между балками своими безобразными острыми алебардами. Но всё это было очень давно. С тех пор Чердачник так больше не шутил. Он хотел покоя и обрёл его.

В соседнем слуховом окне скрипнули навесные петли, рама медленно поднялась. Опять кто-то лезет. Ясно! Вот он высунул голову из окна, озираясь глупыми невидящими глазами, выволок за собой узел и — смешной, неуклюжий! — пополз по мосткам, ведущим от трубы к трубе; хочет перебраться на крышу соседнего дома, а там через наружные галереи спуститься вниз. Чердачнику противно было смотреть на него. Вот крикнуть «у-у-у!» — и конец человеку...

Но Чердачник даже не пошевелился. Тёмно-серый от пыли и паутины, он почти совершенно сливался с тёмной кровлей, оставаясь неразличимым под ласковыми, ясными и тёплыми лучами месяца. Лежать ему было удобно. Задумай он изменить позу — загремел бы суставчатым телом по неровной крыше...

Не успел Чердачник вволю понежиться в месячном сиянии, как в слуховом окне показалась вторая голова. Что-то они сегодня оживились... Чердачник ждал, что и этот потащит за собой узел. Нет, узла не было. Человек вылез налегке,

он двигался более ловко, чем предыдущий; брызнув впереди себя противным жёлтым светом, он пошёл по мосткам. В лунном свете поблёскивали пуговицы, начищенные сапоги и ещё что-то на плечах. Шёл он осторожно.

Он был совсем близко, над головою Чердачника, который следил, как передвигаются блестящие сапоги. Человек пройдёт мимо, и опять настанет покой. Много их уже прошло...

И тут трухлявая доска треснула у самого края и сломалась. Нога человека повисла в воздухе.

— У-У-У! — что было мочи закричал Чердачник и, вцепившись локтями в балки, поднялся во весь свой рост. — У-у-у! — выл он как можно громче. — У-у-у!

Он ужасно испугался, что человек упадёт и наступит ему на голову.

Но человек, к счастью, удержал равновесие. Он покачался на одной ноге, потом прижался спиной к железным перилам мостков, вынул какую-то блестящую штуку — и что-то щёлкнуло.

— Стой! — сказал он. — Руки вверх, или стрелять буду.

Чердачник сжался в комочек; он скользнул под мостками на другую сторону, но и там его подстерегал противный жёлтый свет, а человек повторил свой приказ. Чердачник медленно воздел руки к месяцу.

Он знал, что означает слово «стрелять», и не любил этого. Ему от этого делалось страшно. Не так давно люди гонялись друг за другом по его крышам, влезали на самый верх и падали вниз, и брызгами разлетались черепицы, и что-то странное свистело, грохотало и не давало ему спать. Один раз что-то пролетело над самой его головой, проделав в крыше дырочку, в которую можно было просунуть большой палец. Потом люди прекратили это занятие. Но уж очень всё это было неприятно, и, чем доводить дело до «стрелять», лучше выполнить то бессмысленное требование человека.

— У-у-у! — ещё раз на всякий случай взвыл Чердачник: а вдруг подействует.

Нет, не подействовало. Тогда он вышел на свет.

Подпоручик ойкнул и чуть не выронил пистолет и фонарик. То, что предстало перед ним, было так неожиданно и так безобразно — нечто вроде огромного паука с четырьмя лапами или вроде старого, непомерно разросшегося скелета... Глазищи были как матовые лампочки, а по обеим сторонам маленькой круглой морды свисали чуть не до плеч длинные пыльные пряди, впрочем, настоящих плеч у страшилища и не было. Поднятые руки росли будто прямо из шеи. И грудной клетки, как таковой, не замечалось. В общем, было это не приведи господи, что такое.

Подпоручик тоскливо подумал, что нечего было ему лезть на крышу, а тем более одному. Но чердачных воров развелось в последнее время более чем достаточно, и не так уж приятно поминутно выслушивать брюзжание Старика: «Да, уважаемый товарищ, как ни странно, чердачные вору орудуя преимущественно на чердаках. Возможно, вам трудно себе представить, но это факт, поверьте!» Может быть, какому-нибудь старому служаке, которому через год всё равно на пенсию выходить, такое брюзжание как с гуся вода, потому что ему уже на всё... и так далее, но молодой человек, как правило, хочет расти. Хотел расти и подпоручик. Он как-то привык к мысли, что вырастет. Божена тоже привыкла и всё говорила: надо стараться, чтоб добиться успеха, раз уж взялся за такое дело. Двадцативосьмилетнему парню очень грустно опростоволоситься на том, что кто-то очищает чердаки, да ещё так ловко. У него с Боженой наверняка будут ещё дети, а подпоручик вовсе не хотел, чтобы у его детей был отец, так и не сумевший вырасти. Всегда очень выгодно иметь отца, который вырос. И каждый отец обязан думать о своих детях. Это его долг.

Да, но нет никакого смысла торчать на крыше и держать под прицелом какую-то нежить, тем более что она и не сопротивляется. Подпоручик сунул оружие в кобуру.

— Можете опустить руки, — сказал он.

Чердачник свесил лапы вдоль жердеобразного туловища. Теперь он мог бы удрать. Стоит вскочить на гребень крыши и переметнуться на ту сторону, а там, по карнизу, можно добраться куда угодно. Но происшествие развлекло

его. Ещё никто никогда не обращался к нему прямо. Никто и никогда, собственно, не заговаривал с ним. Порой его досада брала. Он часто слышал разговоры людей, знал смысл слов, даже сам пробовал иногда поговорить. Выходило неплохо, только ведь разговаривать с самим собой — совсем не то...

Подпоручик откашлялся. Он был явно растерян. Вынул пачку сигарет, протянул страшилищу. Чердачник не двинулся. Он не принял и не отверг дара. Просто он не знал, чего от него хотят. Подпоручик спустил протянутую руку, сам взял сигарету, чиркнул спичкой. Чердачник съёжился. Может быть, человек всё-таки хочет причинить ему вред? Он не любил огня. Не доверял огню.

Подпоручик ещё раз кашлянул и затыкнулся.

— Простите, — сказал он, — видно, я впотьмах спутал вас с другим. Смешно, правда! Я видите ли, выслеживаю воров. Кто-то тут, в районе, систематически делает чердаки. Непонятно это мне, ведь на такие тряпки нынче мало кто позарится, тем более риск-то какой! А ваше мнение? Впрочем, у каждого свой вкус. Будьте добры, скажите, тут никто не вылезал недавно из слухового окна?

— Вылезал, — промолвил Чердачник.

Человек на мостках импонировал ему, потому что не боялся его и разговаривал с ним вежливо. Он хотел ещё добавить, что тот, кто недавно вылез из окна, тащил на себе узел, да раздумал. Этот умный человек, который не боится привидений, конечно, знает, что почти все люди, появляющиеся на крышах ночью, обязательно тащат узлы.

— Как он выглядел? Вы можете описать его?

— Выглядел как человек, — молвил Чердачник. — Думаю, это был человек. Очень похоже на то.

— Почему вы так думаете?

— Нёс узел.

— Ага. Откуда он вылез?

— Отсюда, потом прошёл по мосткам и на другой стороне спустился по галереям.

Подпоручик задумался. Он был не дурак. И его, естественно, занимало, что тут делает это чучело и вообще, что оно такое. Подпоручик оказался достаточно умён, чтобы не

расспрашивать о вещах, которые не сулят ничего хорошего. И ему поручили ловить не чердачных домовых, а чердачных воров. Насчёт домовых Старик ничего не говорил.

— Так вы здесь всегда проживаете?

— Всегда, — ответил Чердачник.

Нет, пожалуй, этот человек не так уж умён, если спрашивает о том, что само собой разумеется. Подпоручик присел на мостки.

— Садитесь и вы поближе, чтоб глотку не надсаживать!

Он закурил ещё одну сигарету. Из опасения — думал, что такое страшилище, наверно, ужасно смердит.

Чердачник одним прыжком преодолел разделявшее их расстояние, уцепился лапой за мостки, взметнулся наверх и уселся возле человека с блестящими пуговицами. Подпоручик отметил про себя, что хотя страшилище омерзительно, но, как ни странно, совсем не воняет.



— Видите ли, у меня к вам просьба, — сказал подпоручик. — Я попал в трудное положение. Вот вы говорите, что всегда здесь живёте, а я не могу, у меня дела внизу. К тому же семья, знаете ли. Парню моему уже восемь месяцев. Вот он, смотрите. — И подпоручик вытащил фотографию.

Чердачник знал, что люди страшно носятся со своими детёнышами. Они подчиняются их тиранству, сюсюкают «тю-тю-тю, ти-ти-ти», хотя сами друг другу очень редко говорят «тю-тю-тю» и «ти-ти-ти», и вообще скачут перед своим потомством на задних лапках. Этого Чердачник никак не мог понять, потому что никогда не был детёнышем. Теперь он не знал, что сказать, и очень смутился: а вдруг человек не захочет с ним больше разговаривать?

Подпоручик спрятал фотографию в нагрудный карман. Он полагал, что проявил достаточно простых человеческих чувств к собеседнику и можно приступать к делу.

— Короче говоря, мне нужна ваша помощь. Надо узнать, кто обворовывает чердаки, а вам ведь... Конечно, всё останется между нами; вы, возможно, имеете на этот счёт предрассудки, но в то же время вы обязаны нам помочь.

Он чуть было по привычке не заговорил о гражданском долге, да удержался. Привидение вряд ли можно причислить к гражданам.

Чердачник был польщён: ведь это первый человек, заговоривший с ним.

— Что я могу сделать? — спросил он.

Эти слова казались ему верхом вежливости. Он слышал, как их произносил художник, живший под самой крышей, когда к нему приходил судебный исполнитель. Правда, художник давно умер.

— Мне надо узнать, как зовут вора, — сказал подпоручик, об остальном мы уж сами позаботимся.

— Почему вы его сами не спросите? — удивился Чердачник. Он был наивный и сказал это без всякой задней мысли.

— Ха-ха! Вряд ли я с ним встречусь. У вас больше шансов застукать его.

Чердачник понял, что, установив имя человека с узлом, он принесёт пользу человеку с золотыми пуговицами. Но он

не понимал, что разделяло обоих. Больше всего он дрожал за свой покой. Ему казалось, что все люди защищают тех, с узлами, он думал так потому, что в ту давнюю ночь, когда один из них свалился с крыши от испуга, много народу пришло на чердак: хотели, наверное, отомстить за упавшего. А Чердачнику меньше всего хотелось, чтобы на его чердаке сутились с факелами и алебардами.

— Что сделал вам тот человек с узлом? — осторожно спросил он.

— Мне — ничего, — улыбнулся подпоручик наивности чудища. — Он просто вор. Берёт вещи, которые ему не принадлежат.

Чердачнику никогда ничего не принадлежало. Поэтому он считал, что если у кого-нибудь есть особо ценная вещь, то он должен сам за ней следить. Он попытался как можно вежливее выразить эту мысль. Подпоручика передёрнуло. Его собеседник оказался не только уродиной, но вдобавок и совершенно аморальным... созданием. Но ничего не поделаешь. Он был ему нужен.

— Штука, видите ли, вот в чём, — стал объяснять подпоручик, — если у кого есть добро, заработанное собственным трудом, то никто не смеет у него это отнять. Хочешь чего-нибудь, будь любезен заработай денежки честным трудом, а следовательно, нельзя отнимать ни у кого и нельзя никого заставлять на себя работать.

Чердачник слушал, затаив дыхание. Ему это нравилось. Оказывается, мир куда интереснее, если понять, что им движет.

— А чего ещё нельзя делать?

Опять подпоручик несколько растерялся. Не излагать же призраку уголовный кодекс. И времени много потребуется, да, кроме того, в этом подпоручик был не особенно твёрд.

— Много чего нельзя, — вывернулся он, — но по большей части вас это не касается. Нельзя воровать ни на чердаках, ни в других местах, убивать нельзя и нельзя говорить неправду. И нельзя обманывать людей, если вы им что-то обещали, или пользоваться их трудом в корыстных целях...

— И все люди об этом знают?

— Знают-то все, только некоторые нарушают. Это и есть отсталые элементы, и все должны помогать нам пресекать их образ жизни.

Подпоручику никогда ещё не приходилось объяснять таких вещей, и потому он объяснял так, будто разговаривал с малым ребёнком.

Теперь Чердачнику стало ясно: все люди, которые за долгие годы прошли мимо него с узлами на спинах, были «отсталые элементы», и он пожалел, что не знал этого раньше. Он сказал себе, что тот, кто как-то давно свалился с крыши, испугался его потому, что был «отсталый элемент», а этот, с пуговицами, его не боится, потому что он человек хороший и наверняка не делает ничего такого, чего не подобает хорошим людям.

Следствием таких рассуждений явилось самоотверженнейшее предложение, на какое он только был способен:

— Когда он ещё раз придёт, я крикну «у-у-у!»... — Чердачник взвыл с таким рвением, что подпоручик чуть не упал с мостков. — Он испугается, свалится и больше не будет нас беспокоить. Хотите?

— Не надо, — возразил подпоручик. — Достаточно установить его имя. Так будет лучше.

Дело было не в полном отсутствии кровожадности в характере подпоручика — просто он руководствовался чисто практическими соображениями. Слов нет, лесника, например, награждают, даже если он принесёт одни уши волка, и никто не спросит его, каким образом погиб хищник. Но Старик требует чердачного вора живьём. И, конечно, выставит за дверь подпоручика, явись он с ушами чердачного вора, разбившегося при падении с крыши.

— И вам будет приятно?

— Я что... Это — в интересах общества. Но, конечно, и мне будет приятно. Итак, договорились. Я буду приходить сюда каждую ночь в эту пору и ждать вас здесь, на мостках, а вы мне будете рассказывать, что вам удалось узнать.

Подавляя отвращение, он протянул страшилищу руку в кожаной перчатке. Чердачник не понял, но он уже не боялся, потому что человек, рассказавший ему о жизни людей, стал

его другом. Он позволил руке в кожаной перчатке сжать свою лапу. Подпоручик поднялся, потирая озябшие колени. Приближалось утро. Небо между трубами светлело.

В следующие две ночи ничего не произошло. Подпоручик приходил напрасно и уходил разочарованным. Это было очень досадно Чердачнику, но в то же время он был рад, что его навещает друг. Он уже входил во вкус разговоров о том, что хорошо и что плохо. Если бы привидения обладали способностью расцветать, он расцвёл бы за эти две ночи, как розовый куст. Впервые почувствовал он, что бытие имеет какой-то смысл: ведь теперь он знал, что всякое начинание на что-нибудь да направлено, и, кроме того, на него была возложена теперь задача.

На третью ночь он эту задачу выполнил. Всё оказалось обескураживающе легко.

Чердачник услышал скрип оконных петель на одной из соседних крыш — было это вскоре после того, как друг его удалился. Скачками помчался Чердачник на звук. Недавно прошёл дождь, крыши были мокрые. Чердачник даже ушиб колено. Он никогда ещё не бегал так быстро по скользким от дождя крышам, зато подоспел как раз в тот момент, когда человек закрыл за собой раму слухового окна и наклонился к лежавшему у его ног узлу. Чердачник не собирался пугать его. Ведь друг не хотел, чтобы человек с узлом упал с крыши. Поэтому он спрятался за трубой и, вспомнив, как надо действовать в подобных случаях, крикнул:

— Руки вверх, или стрелять буду!

Человек с узлом всмотрелся в темноту, но не мог различить того, кто произнёс эти слова. Чердачник был довольно далеко от него.

— Не валяйте дурака, начальник! — весело сказал человек.

Он был большой рутинёр и знал, что редко кто в этой стране носит оружие, да и тот, кто носит, слишком благоразумен, чтобы из-за нескольких штук белья или разобранной швейной машинки сбить выстрелом человека с крыши.

— Руки вверх, — повторил Чердачник заклинание, в действенности которого был твёрдо уверен.

— Пошёл ты к чёрту, — произнёс человек с узлом.

Сверху, от трубы, из-за которой доносился голос Чердачника, крыша спускалась круто, без единого выступа, и ухватиться было не за что. Преследователю пришлось бы катиться до самого края крыши, и если бы ему не удалось ухватиться за карниз — чего человек с узлом никому не посоветовал бы делать, — то вся эпопея могла окончиться внизу во дворе, между мусорными баками. Там утром могли бы подтереть мокрое место, которое осталось бы от преследователя.

Поэтому человек спокойно поднял узел и перекинул его на спину. Он вполне сознавал своё преимущество, — ведь он великолепно знал место действия. Если только никто не подстерегает его внизу — а его никто не подстерегал, в противном случае Тонда свистнул бы, — то этот парень за трубой так же для него опасен, как чёрт из марципана. Он ступил на мостки.

Чердачник был в отчаянии. Если человек с узлом удерёт, друг наверняка рассердится и никогда больше не придёт поболтать с ним. А человек с узлом, быть может, не вернётся, он, наверное, перепугался, и теперь Чердачник потеряет друга только оттого, что не выполнил своего обещания. Чердачник мог в несколько прыжков догнать человека с узлом. А если тот от страха свалится? Друг этого не желает...

Тем временем человек с узлом перешёл мостки. Он был так уверен в успехе, что даже не оглядывался. Потом он повесил узел себе на шею и стал спускаться по железной лесенке к небольшой площадке, разделявшей две островерхие кровли старинного дома. Чердачник раскинул руки и побежал по гребню крыши. Единственное, что ему теперь оставалось, — это спрыгнуть на ту же площадку. Спрыгнуть так, чтобы очутиться между её краем и человеком и подхватить того, если он с перепугу упадёт.

Площадка была мала, к тому же скользкая от дождя, старый цемент отваливался по краям целыми кусками. Чердачник не знал, может ли он разбиться до смерти. Он никогда над этим не задумывался. Но по опыту знал, что может, как и всякий другой, удариться и причинить себе боль, если забудет об осторожности или если его не выручит врождённое

умение сохранять равновесие и хвататься когтями за поверхность крыши. До сих пор он никогда не шёл на риск. В этом не было нужды. Теперь такая необходимость настала. Он пригнулся и спрыгнул.

Человек с узлом заметил, как что-то сорвалось с конька крыши, пролетело по воздуху и упало у самых его ног, что-то похожее на огромного, поджавшего лапы паука. Потом оно вытянулось во весь рост, озаряемое лунным светом.

— У-У-У! — завыл Чердачник. Для этого воя он всё время, пока бежал, старался сэкономить дыхание.

Человек выпустил узел из рук и приклеился спиной к мокрой штукатурке пожарной стены. Он чувствовал, как крошится штукатурка под его пальцами, судорожно царапавшими стену. Потом он тоже закричал. Он никогда ещё не видел ничего страшнее той фигуры, что выросла перед ним на краю площадки.

— У-у-у! — всё выл Чердачник. Он даже радовался, что одержал победу с помощью традиционного своего оружия.

Человек уже не кричал, он хрипло сипел от ужаса. И он поднял руки. Он сдавался. Чердачник смотрел на него с известным удовлетворением. «Отсталый элемент» боялся его.

— Как вас зовут? — спросил Чердачник и повторил вопрос, потому что «отсталый элемент» перепугался до такой степени, что не в силах был отвечать.

Наконец он пролепетал:

— Богумил Кепка...

Вот и всё. Чердачник выполнил свою задачу. Он подхватил узел, взбежал по крыше и положил его за трубой. Узел затруднял движения, силы Чердачника были невелики, он не привык носить тяжести. После этого он спустился на ближний чердак, залез за стропила и мгновенно уснул: до утра оставалось много времени. И Чердачнику было совершенно безразлично, что Богумил Кепка без малого час сползал во дворик — так тряслись у него руки и ноги.

На следующую ночь Чердачник с триумфом доложил своему другу имя преступника. Он весь трепетал от затаённой гордости. Подпоручик, услышав имя, стал очень серьёзным.

— Подумать только, это Богумил Кепка... А вы не ошиблись? Он живёт в соседнем квартале, работает кровельщиком... Что ж, разберёмся!

Когда через сутки, вскоре после наступления темноты, подпоручик снова явился на свидание, Чердачнику, очень чувствительному к свету, показалось, что глаза у его друга сверкают ярче, чем пуговицы, сапоги и всё остальное, вместе взятое.

— Парень не только признался во всём, — объявил подпоручик, — но мы ещё нашли у него остатки добычи от прежних походов. Только он божился, — тут подпоручик хихикнул, — что всё равно уже собирался оставить это занятие, потому как встретил вчера, говорит, привидение и больше ни за что на свете не полезет на крышу. Ну, знаешь... — Впервые друг называл Чердачника на «ты», — ну, знаешь, без тебя мы ждали бы его до второго пришествия! Ох, как он раскололся! Нет, просто здорово, что ты нам помог.

При таких обстоятельствах подпоручик имел привычку класть руку собеседнику на плечо, но, поскольку в данном случае плечо отсутствовало, он рукой в кожаной перчатке слегка потрепал страшилище по костлявому затылку.

— Это был мой долг, — сказал Чердачник.

Он рад был похвале, рад был, что помог людям, — ведь теперь он знал правила того мира, в котором ему дано было существовать.

— Ну, ладно, — молвил подпоручик. — Я знаю. Но кроме того: кто трудится, достоин, как говорится, награды. С тобой, правда, тяжёленько будет решить этот вопрос в обычной форме, но ты сам подумай, нет ли у тебя какого желания? Конечно, в пределах моих возможностей... Ну и вообще-уж я замолвлю словечко... Понимаешь, я, может быть, ещё буду просить у тебя помощи. В Праге осталось несколько чердачных ворюг, и после такого успеха мне поручили... Но я тебе всё расскажу, когда нужно будет. А теперь к делу. Скажи, чего тебе хочется?

Чердачник ощутил, как под слоем пыли и паутины напрягается и дрожит его кожа. Было у него желание. До сих пор он никогда ничего не желал. И вот он впервые испытывал

чувство, какое бывает у нас, когда мы вдруг видим, что может исполниться то, чего мы ещё не так давно начали желать. Это совсем особое чувство, потому что возможность исполнить желание нам слаще всего, пока время и рассуждения не поцарапали его новенькую блестящую поверхность.

— Ну, что ж ты молчишь? — спросил подпоручик.

Чердачник обратился на него взглядом, полный преданности и нерешительности.

— Если б мне... — И, не в силах долее сдерживаться, он выложил всё: — Я хотел бы как-нибудь побывать среди людей. Хоть один раз. Увидеть, как они живут, услышать их разговоры, только не с крыши, и самому поговорить с ними, потому что... мне кажется, это должно быть очень приятно.

Подпоручик рассмеялся счастливым мальчишеским смехом. Он рад был, что желание оказалось таким простым.

— Ну, это я могу тебе обещать. Это уж точно. Ты это заслужил. Если тебе хочется, я, конечно, буду приходить сюда, даже когда мы не будем больше работать вместе. До тех пор, пока ты захочешь. А когда справимся с тем делом, которое нам сейчас предстоит, я как-нибудь вечером возьму тебя к себе и мы поболтаем до утра. И нашему малышу ты расскажешь про крыши, про всё, что видел и всякое такое. Рад? Ага? Вот видишь, всё в порядке. Ну пока!

Подпоручик ещё раз потрепал Чердачника по затылку и влез в слуховое окно.

Наступила ночь. Ярко светила луна, но Чердачник чувствовал, что сегодня не сможет недвижно лежать, греясь в её свете. Слишком уж переполняло его счастье. Случилось слишком многое, чтобы он мог сегодня оставаться в одиночестве. Он соскользнул к карнизу, наклонился над улицей и увидел, как его друг вышел из подъезда, как закурил сигарету. Чердачник последовал за ним, прыгая с крыши на крышу; придерживаясь за коньки, он перемётывался на соседние кровли, один раз даже перебежал по телефонным проводам на противоположную сторону улицы, танцуя с расставленными руками на проволоке. Так миновал он несколько кварталов и увидел наконец, как его друг отпирает дверь своего дома.

На третьем этаже, если считать от крыши вниз, светились три окна. Чердачник спустился с карниза, повиснув на руках, оперся спиной о водосточную трубу и, ухватившись когтями за провод громоотвода, точными движениями соскользнул к освещённым окнам, а затем спрыгнул на карниз приоткрытого окна. Прячась за выступом стены, он уселся на карнизе, упёршись в него длинными руками.

Молодая женщина в переднике, со стриженными светлыми волосами и круглым лицом, сидела за столом и что-то шила. Открылась дверь, и в комнату вошёл друг. На нём была серая вязаная куртка, а на ногах вместо блестящих сапог — шлёпанцы. Женщина подняла голову.

— Разулся? Вот и ладно. Слушай, я купила на воскресенье телятины.

Друг поцеловал её, сел к столу и закурил.

— Старик похвалил меня за этого Кепку, — довольным тоном сказал он. Пододвинул к себе пепельницу и откинулся на спинку стула.

— И правильно, — сказала жена. — Вообще пусть радуется, что ты у него служишь. Только не сразу он это сообщил. Она сделала стежок. — Малыш сегодня плохо кушал.

— С чего бы это? — Друг поднялся и, подойдя к белой деревянной кровати, приоткрыл одеяльце, под которым спал детёныш.

Чердачник равнодушно относился к человеческим детёнышам, но этот составлял исключение. Когда-нибудь он расскажет ему всё, что видел на крышах. Он как следует готовится к рассказу, чтобы вышло хорошо. И этот детёныш вырастет таким же честным и славным человеком, как его отец, друг Чердачника.

— Вид у него неплохой, — сказал друг, разглядывая своего детёныша.

— А с чего ему выглядеть плохо? — отозвалась женщина. Только он мало кушал. Обычно он кушает больше. Вообще он кушает больше, чем другие дети.

Она подошла в кровать и взяла детёныша на руки.

— Тю-тю-тю, — пропищал друг и пощекотал детёныша по кругленькой щёчке. Потом продолжал серьёзно: — Старик

говорил, что теперь можно подумать и о моём повышении. С Кепкой, говорит, вышло знаменито.

— Ну и слава богу, — сказала женщина, забавляя детёныша. — Мы с Иржичком очень рады. Надеюсь, ты не рассказывал, как было дело? Или рассказывал?

— С ума ты сошла? Я не такой болван.

— Я знала, что ты сообразишь. А как ты объяснил?

— Что это был результат наблюдения. Что у меня возникли подозрения и я проверил их. Старик любит, чтоб так говорили. А что ещё я мог ему сказать?

— Конечно, — согласилась женщина, — что с ним за разговор. — Он такой сухарь, никогда не учтёт, что у человека семья. Надо бы тебе перевестись куда-нибудь в другое место. Возьми хотя бы Ванечка — уже старший поручик!.. Иржичек, смотри, а вот наш папа!.. Но знаешь, что я тебе скажу, не очень-то мне по душе эта история с твоим призраком или как его там. Не вздумай вообще об этом где-нибудь болтать! Что о нас соседи подумают? И так уж Кучериha говорила мне, что ты шляешься по ночам и ей меня, видишь ли, жалко — понимаешь? — неужели у тебя ночная служба и так далее. Ну, я ей ответила как надо, говорю: знаете, товарищ, — она не любит, когда её называют «товарищ», так я нарочно, — знаете, товарищ, я своему мужу доверяю, потому что он честный и порядочный человек и ничего ему не надо скрывать, не то что другим, которые дома тише воды, ниже травы, а как зайдут за угол, так и щерятся на каждую юбку, будто выломанный гребешок... Правда, здорово я её отбрила? Дело в том, что у её муженька спереди нет зуба, ты ведь знаешь его, верно? И всё-таки пора тебе бросить ночные походы. Вот и Иржичек папу совсем не видит, и не дай бог кто узнает про этого... про привидение! Пока он тебе нужен, конечно, ничего не поделаешь, но потом постарайся как-нибудь от него избавиться. Потому что не будет тебе от этого добра. Место у тебя приличное, ещё позавидует кто...

Друг Чердачника улыбнулся женщине и погладил её по голове.

— Да, конечно! Хорошо, что тебе всё можно рассказывать, ты не то что другие жёны, не начнёшь подозревать мужа

бог весть в чём. Ничего, я хорошо знаю свои обязанности перед тобой и малышом. Не позволю я, чтобы всё отделение меня дурачило. Но скажу тебе: иной раз мне здорово приходилось себя пересиливать. Ох, какой же этот призрак уродина!

— Брр, — передёрнулась женщина и прильнула к подпоручику. — Не говори об этом! Я всегда радуюсь, что я не мужчина, когда слышу о таких вещах.

— Ничего, не ломай себе голову, я уж потом как-нибудь от него отделаюсь. Он не может спускаться с крыш, и вообще, знаешь, какой-то он уже старый. Такой... шелудивый вроде. И до чего простофиля, всему верит. Нет, затруднений мне с ним никаких не будет, за это ручаюсь. Иначе я бы с ним и не связывался. Ну, хватит, нечего портить себе вечер разговорами о нём, ведь он такой безобразный, а ты такая хорошенькая... Ну-ка, скажи, чья ты?..

Чердачник упёрся руками в согнутые колени и медленно выпрямился. Он не был возмущён. Слово за слово повторил он про себя кодекс человеческого мира и понял, что уже вряд ли сумеет от него отречься. Жить без закона можно лишь до тех пор, пока не войдёшь с ним в соприкосновение. Чердачник знал теперь, что дурно и что хорошо. Ему это сказали. И теперь он несколько растерялся. Как же так? Ведь обещать и не выполнить обещания, воспользоваться в личных целях трудом другого — всё это дурно. Так ему сказали. И ещё сказали, что все должны бороться против тех, кто хочет так жить, потому что в противном случае весь мир будет поражён тем, что он научился почитать дурным.

Чердачник понимал, что должен выразить протест. Но как это делается, он не знал. Ему ужасно хотелось заглянуть в окно, завывать своё «у-у-у!» и скорчить самую страшную гримасу, какую только удастся, чтобы проснулся толстый детёныш и на всю жизнь запомнил это явление, а когда вырастет, спросил бы обо всём. Но Чердачник не сделал этого. Ещё выстрелят. Хотя нет, они ведь думают, что он им ещё пригодится. К тому же побоятся устраивать шум — как бы не обнаружилось, из чего они строят гнёзда для своих детёнышей. И вообще это не то, что нужно...

Чердачник медленно взобрался по водосточной трубе на крышу. Он не торопился. Открыл слуховое окно и влез на чердак. Снял с верёвки большую белую простыню, расстелил на полу, набросал на неё остальное бельё, сколько смог стянуть с верёвок, потом снова вылез на крышу и, сгибаясь под тяжестью узла, пошёл куда-то. Он ещё не знал, куда отнесёт узел, но знал одно: он унесёт его в такое место, где никто его не найдёт. И завтра сделает то же самое, и послезавтра. Он считал это своим долгом, потому что всё ему стало ясно. Ведь у него не было никакой фантазии. Он был только привидением. И слишком маленькая была у него голова.

Balada o vikýřníkovi, 1961

Перевод: Н. Аросева

Иллюстрации: М. Несвадба, С. Дуда



К О К Е Ш

— А что там дальше? — спросил репортёр Котлах.

Вопрос был задан почти машинально.

Строго говоря, Котлах уже ничего не ждал. Вокруг всё одно и то же — сырость, местами плесень, с потолка капает вода.

Человек в чёрном резиновом плаще поёжился — капелька капнула ему за шиворот.

— А дальше нет ничего, — угрюмо ответил он, — то есть, есть старые подвалы. Замуровывать будем, и смотреть там нечего.

Человек в резиновом плаще был «крысомор». То есть ему платили деньги за то, что он истреблял крыс. Журналистов, которые время от времени спускались в подземные коллекторы и потом писали обо всём, что видели, он не особенно жаловал. Дело в том, что для повышения своего жизненного уровня он продавал различным научным учреждениям крыс, пойманных в коллекторе, а журналисты распугивали их. Кроме того, нелишне упомянуть, что истребление крыс оплачивалось сдельно, между тем как беседы с представителями печати подлежали почасовой оплате.

— Да, но посмотреть-то я могу, правда? — настаивал Котлах.

Он готов был пойти на что угодно, лишь бы собрать материал для очерка. Пока что, кроме скуки, подземный коллектор не вызывал у него никаких эмоций. Ему всегда казалось обидным, что в подвалах, в катакомбах и прочих подземельях нет больше ни пиратских кладов, ни коллекций времён короля Рудольфа, ни, по крайней мере, скелетов замурованных монахинь. Всякий нормальный мужчина в глубине души немного романтик, а из года в год описывать высоким слогом влтавских уток или затруднения городского транспорта, и при этом не превратиться в мизантропа, в состоянии лишь действительно страстный любитель писать.

— Что ж, посмотреть-то можно, — согласился наконец крысомор. — Вот вам фонарь, да не наберите в сапоги. Они ведь под расписку взяты, надо нам их вернуть в целости. А я с вами дальше не поеду. Мне от этого никакого удовольствия нету. И вы далеко не лезьте, там и смотреть-то нечего.

Журналист повёл лучом карманного фонарика по прогнившим сводам. Он не имел причин не верить истребителю крыс, но вместе с тем соглашался, что невозможно кормить читателей газеты одними процентами плана. Хлюпя казёнными сапогами по зелёной воде, он прошёл несколько поворотов. Метров через пятьдесят коридор расширился, образовав целый комплекс сводчатых помещений. Там было несколько каморок и ниш, которые, как и следовало ожидать, никуда не вели. Только у самого пола зияли отверстия, через которые вряд ли пролезла бы даже собака. Репортёр для очистки совести осветил отверстия, покружил лучом света по скучному склепу и решил уходить. Придётся пригласить крысомора на кружку пива и потолковать с ним о крысах. Только всё это ни к чему. Морильщик ни за что не скажет ему правды. Он профессионал, и поэтому будет долго и нудно говорить о том, как надо делать эту работу, вместо того чтобы рассказать, как она делается на самом деле.

Котлах с отвращением шлёпал по выбитым кирпичам мушкетёрскими ботфортами, привязанными к поясу шнурочком.

— Кхм, кхм, — раздалось вдруг деликатное покашливание, — Прошу прощения, сударь...

Репортёр обернулся, направив луч света на голос.

У одной из полуобвалившихся ниш стоял человек ростом примерно в аршин. Он не был ни уродлив, ни страшен. На нём был красный кафтанчик, уже несколько потемневший от времени, на ногах — низкие сапоги, вокруг талии — широкий кожаный пояс. Это был толстенький гном весьма солидного вида.

— Что вам угодно? — учтиво обратился к нему Котлах.

Он сам отличался полнотой и бессознательно питал склонность ко всем толстякам.



Гном снял высокую чёрную шапочку, украшенную потёртой золотой тесьмой, и с милой неповоротливостью слегка поклонился. Он был безбород, почти совершенно лыс, его добрые глаза прятались под морщинистыми, как у черепахи,

веками. «Совершенно диснеевский персонаж», — пришло в голову журналисту.

Человечек дружелюбно улыбнулся и прижал свою шляпчонку к груди.

— Разрешите представиться — Кокеш.

— Репортёр Котлах.

— Весьма польщён, — сказал гном и ещё раз поклонился. — Прошу прощения за то, что позволил себе затруднить вас, но я только хотел спросить, не нуждаетесь ли вы в моей помощи. Был бы чрезвычайно рад услужить. Почту за честь.

— Да я н-не знаю, — растерянно произнёс Котлах.

Он уже так был развращён недостатком необычайного, что до него очень медленно доходила мысль, что тут не всё ладно.

— Нет, вам действительно ничего не нужно? — грустно протянул гном. — Ах, как это досадно! Видите ли, сюда мало кто заходит, в последнее время вообще никого не было, так что, как говорится, я теперь не у дел. Если б вы знали, какая тут скука! И мне так хотелось бы сделать что-нибудь для вас, хоть самую малость. Хотя бы для того, чтоб не потерять формы.

— А чем, простите, вы изволите заниматься? — поинтересовался Котлах.

Он спросил так отчасти потому, что подумал, не вытянет ли из гнома какой-нибудь материальчик, хотя было в высшей степени спорно, будет ли эта информация иметь хоть какую-нибудь ценность, поскольку, как известно, гномов не существует; с другой стороны, у Котлаха было мягкое сердце, и он не умел отказывать.

— В чём же, простите, заключается ваше уважаемое ремесло?

Обычно Котлах не изъяснялся так слащаво, но ему казалось, что это понравится гному, который явно принадлежал к старой школе.

— Ах, конечно, вы ещё не знаете, — засмеялся гномик и добавил с милой, бесхитростной улыбкой. — Я, с вашего разрешения, убиваю людей.

— Что-о?! — отшатнулся репортёр.

— Ну да, убиваю, — добродушно подтвердил Кокеш.

С этими словами он протянул руку и вытащил из ниши металлический молоточек, насаженный на длинную деревянную, отполированную ладонями рукоятку.

— Смотрите, вот моя дубинка. Стоит стукнуть ею по головке, за самыми за ушками, и трупик готов. И не успеете вы оглянуться, как всё кончено.

Котлах поставил фонарь на пол и раскрыл перочинный нож. Он надеялся продержаться, пока не подоспеет морильщик. Правда, он не думал, чтобы морильщик стал торопиться, узнай он в чём дело.

— Что вы, что вы, сударь, — Кокеш надул губки в комической гримаске. — Я не собираюсь нападать на вас! В противном случае я не стал бы вам ничего рассказывать. Я убиваю только по просьбе, сам-то по себе я очень смирный. Характер у меня не такой, не могу я этого... Так кого же разрешите мне убрать с вашей дороги?

Журналист, поколебавшись, закрыл ножик и спрятал его в карман. Строго говоря, Кокеш действительно имел совсем безобидный вид.

— Да как бы вам сказать... — в смущении проговорил репортёр. — Я не совсем уверен, найдутся ли такие...

— Нет, я понимаю, — успокоительно произнёс Кокеш, — вид у меня такой, что можно усомниться, справлюсь ли я, но это лишь первое впечатление. У меня, видите ли, богатый опыт, и я точно знаю, куда, надо бить наверняка. И дубинка моя очень удобна, по руке, рукоятка такая длинная, а в случае нужды, я и подпрыгнуть могу. Смотрите!

Гоп — и гном подпрыгнул на добрых полметра, взмахнув в воздухе своим орудием.

— Ага... — промычал Котлах, разматывая шарф на шее.

Если Кокеш не зря болтал, он был весьма опасен. А выглядел таким милым, таким бесхитростным добрячком, что ни один мало-мальски порядочный человек ни за что не согласился бы его обидеть.

— Да, да, сударь, — гордо сказал Кокеш, — вот так это и делается! За ушками, за ушками. И уже так много лет я никого не убивал! Есть от чего прийти в отчаяние. Не правда ли, вы не отвергнете моих услуг? Я ничего за это не потребую,

это мой священный долг. С меня достаточно лишь гордого удовлетворения тем, как мастерски я это проделываю. А я проделываю это действительно мастерски!

Котлах, отвернув полу непромокаемого плаща, вытащил из пиджачного кармана трубку и медленно раскурил её. Во всяком случае, Кокеша не следовало раздражать. Он со своей дубинкой может таких дел натворить... С другой стороны, оставить его здесь, рискуя, что его ангажирует какой-нибудь убийца... Хорошенькое выйдет дело — например, знаменитый бандит Лециан, да к нему ещё Кокеш с его рвением... За две недели уложат больше народу, чем в битве при Липанах!

— Видите ли, пан Кокеш... — тактично начал Котлах.

— Просто Кокеш, с вашего разрешения, — скромно сказал гном. В его манерах было что-то от старых слуг в добропорядочных домах.

— Ладно, пусть Кокеш... Видите ли, — начал импровизировать репортёр, — в данный момент у меня нет для вас поручения, я ведь не рассчитывал вас встретить, да и не подходящее здесь, знаете ли, место.

— Совершенно верно, сударь, — кивнул Кокеш.

— Вот видите. И ещё одно. Можете ли вы мне обещать, что в случае, если мы договоримся, вы будете работать исключительно для меня?

— Но, сударь, — укоризненно возразил Кокеш, — нельзя же служить двум господам! Можете навести обо мне справки. А если у вас нет для меня работы сейчас, то это, сударь, неважно. У вас, вероятно, много других дел. Когда вы окажете мне честь и решитесь воспользоваться моими услугами, я буду неподалёку. Вам не надо обо мне заботиться, у меня есть свои возможности. Как только я вам буду нужен, извольте позвать: «Кокеш!» — и я тут же прибегу. Во избежание каких-либо ошибок, я ещё спрошу вас: «Что хочешь?». В данном случае, краткости ради, я позволю себе обратиться к вам на «ты». А вы ответите: «Того, кто за моей спиной, своей дубинкой успокой». При этом потрудитесь всегда стоять спиной к тому лицу, которое вы желаете умертвить, потому что зрение моё начало портиться, и в большой толпе мне уже трудно ориентироваться. Всё остальное — моё дело. И не из-

вольте беспокоиться по части секретности, я ведь не в первый раз это делаю. Кроме того, мне всё равно никто не поверит! Моё сотрудничество никогда никому не доставляло затруднений. Многие высокие господа очень похвально отзывались обо мне, если мне дозволено проявить такую нескромность.

Котлаха мороз подрал по коже. Кокеш был неподражаем, когда говорил о смертоубийстве, как о пустячном деле.

Репортёр выдавил из себя несколько ничего не значащих слов, но Кокеш был удовлетворён. Подхватив свою дубинку, он снял, шляпчонку, шаркнул ножкой и с поклоном исчез в отверстии.



Котлах почти не слушал, что рассказывал ему морильщик о крысах и истребителю грызунов пришлось раза два деликатно намекнуть, прежде чем репортёр сообразил уплатить

за своего собеседника, осушившего пару пива, два «мерзавчика» и умявшего порцию колбасы с луком. Такое невнимание очень расстроило морильщика, и на другой день он горько жаловался сборщику крыс на неблагодарность прессы.

А Котлах вернулся в редакцию. Поскольку всем было известно, что он побывал в подземном коллекторе, то сотрудники демонстративно зажимали перед ним носы, но Котлах и в ус не дул. Над толстяками все посмеиваются. И если толстяк не дурак, то он смеётся первый. Поэтому и Котлах, проходя по коридору, весело возглашал: «Прячьте носы, прячьте носы!». Добравшись наконец до своего крошечного кабинета, он сел к пишущей машинке. Всё, что он испытал сегодня, казалось ему несколько сумбурным, и потому он позволил себе пофантазировать. Вместо сухого рассказа о приманках для крыс, ядах и цементе с толчёным стеклом, он начал писать о том, что, — как он знал по личному опыту, — представляется людям, когда они думают о разных подземельях. Он отошёл от реализма, описав Кокеша, — понятно, не упоминая при этом о его несколько странной деятельности, — и, настроив таким образом более пяти страниц, отдал материал и пошёл домой.

Стоял осенний солнечный денёк. По дороге Котлах весело насвистывал.

В прихожей он столкнулся с пани Гамрниковой. Пани Гамрникова была супругой пана Гамрника и владела половиной квартиры, во второй половине которой обитал с женой и двумя детьми Котлах.

— Послушайте, пан репортёр, — остановила его Гамрникова и пошла — та-та-та-та-та...

— Несомненно, — сказал Котлах, юркнул в комнату и закрыл за собой дверь.

Это она, наверно, по поводу телефона, а может, мусорного бака. Но скорее всего о телефоне. Пани Гамрникова не в состоянии была одна оплачивать его, это стоило больших денег. И не желала, чтобы аппарат висел в коридоре, потому что тогда ей далеко ходить, и уж никак не хотела слушать в трубке чужие разговоры или тем более пускать на свою половину посторонних людей. Котлах утверждал, что эти желания

несовместимы. Пани Гамрникова утверждала, что совместимы. Был бы тут пан Гамрник, он бы всем показал. Но пана Гамрника не было, так как он опять страдал за свои убеждения. Это было нехорошо по отношению к нему, если учесть, что он страдал за них ещё во время войны, потом ещё как-то, и теперь снова. Пан Гамрник крал на работе кожу и продавал её.

Котлах сел в кресло. Сначала к нему подошёл сын Иржи.

— Папочка!

— Да, сын?

— Что новенького?

— У меня — ничего. А у тебя?

— Папочка, пани Гамрникова ударила меня!

— Вот как. А что побудило её поступить подобным образом?

— Папочка, я сказал ей, что она шлюха.

— Тогда пани Гамрникова поступила правильно. Таких слов вообще нельзя произносить, а тем более, когда ты знаешь, что это неправда, потому что ведь пани Гамрникова дама пожилая.

— Да, папочка, зато она сначала сказала, что ты дармоед и что ты разжирел на её мозолях. Это она сказала на углу. И Пепик слышал. И ещё она сказала, что совсем не удивится, если мамочка найдёт себе другого мужика, и что, как знать, может, она так и делает, потому что только об этом и думает.

— Вот как. А где мамочка?

— Мамочка ушла. Пани Гамрникова схватила в коридоре Пепикова медвежонка и бросила его в уборную. Она сказала, что не позволит, чтоб в квартире валялась всякая дрянь.

— И мамочка пошла купить нового медвежонка?

— Не-ет. Мамочка пошла за водопроводчиком. Это был тот маленький медвежонок, серый, и он, наверно, провалился совсем вниз, потому что уборная теперь засорилась.

— Так. А что ещё сделала пани Гамрникова?

— Она ударила Пепика. Когда мамочка ушла, Пепик стал реветь из-за медвежонка. А пани Гамрникова сказала, что не потерпит в квартире никакого рёва.

— Хорошо, милый сын. Иди в соседнюю комнату и садись за уроки. Когда появится необходимость, воспользуйся

ночным горшком. А в коридор не смей выходить, не то пани Гамрnikова бросит в уборную тебя.

Котлах кинул последний взгляд на припухшие губы сына и погрузился в чтение Анатоля Франса, которого особенно любил. Он наслаждался уравновешенным скептицизмом прокуратора Иудеи, когда в комнату вошла жена. Котлах отложил книгу.

— Добрый вечер, дорогая. Вызвала водопроводчика?

Жена посмотрела на него, как на нечто такое, что может притащить с улицы плохо воспитанный пёс, прошла мимо и открыла дверь в соседнюю комнату.

— Иржик, сбегай за угол, к Валашекам, пусть дадут нам на недельку ключ от их дома и ключ от их уборной на галерее. Водопроводчикам некогда. Надень пальто и ботинки, а то простудишься.

— Нет, мой милый, я не вызвала водопроводчика, — ответила она на вопрос мужа, когда сын удалился, — зато я узнала, что муж у меня тюфяк. Настоящий мужчина не потерпит, чтобы его жену так оскорбляли. Знаешь, что опять наговорила эта пани Гамрnikова?

— Знаю, дорогая. Пани Гамрnikова сказала, что я жирию на её мозолях и что она поражается, как это ты не подцепишь другого мужчину.

— Это она тоже говорила, и, право, я начинаю думать, что какое-то зерно истины тут есть. Но это она говорила утром. Днём же она высказалась в том смысле, что я посылаю мальчиков после школы на улицу, чтобы они приводили ко мне клиентов, и что я, конечно, могу себе это позволить, так как муж мой работает в газете. Другой бы это даром не прошло. Так мне сказал водопроводчик, которому сказала его жена. Водопроводчик сказал, что лично он не очень-то этому верит, потому что, ему кажется, это не так, но что свидетелем на суд он сам не пойдёт и жену не пустит, потому что у них достаточно своей работы, и они хотят, чтобы их оставили в покое. Что скажешь, рыцарь Галаадский?

— Я уверен, дорогая, что всё это лишено логики. Я не мог разжиреть на мозолях пани Гамрnikовой попросту пото-

му, что у пани Гамрниковой нет никаких мозолей, и совершенно так же я не верю...

— И ты совершенно так же не веришь, — повысила жена голос, — чтобы я могла посылать мальчиков за клиентами, потому что в квартиру, где засорена уборная, не загонишь даже пьяного матроса. Такова, как мне кажется, твоя логика. Пойди и скажи это водопроводчику, и пусть он везде это раззвонит, потому что я... потому что нет мне никакой жизни! Восемь лет не можешь ты добиться другой квартиры! Какой же ты после этого мужчина!

Она упала на кушетку, как раз на книгу Анатоля Франса, и весь её облик являл картину глубокого отчаяния,

— А вы не расстраивайтесь, молодая дама, — заметила пани Гамрникова, сунув голову в дверь. — Ничего, вы-то уж даже водопроводчика доведёте до того, что он прочистит вам нужничёк! Только смотрите, чтоб это было сделано быстро, я не привыкла к грязи в квартире. А вас, пан репортёр, зовут к телефону. Я им сказала, что позову, если только вы не пьяный. Но в следующий раз чтоб мне этого не было. Отчего не сделать людям любезность, но садиться себе на шею я тоже никому не позволю. Имею я право, чтоб меня не беспокоили в моей квартире, даже в нынешнее время я могу этого требовать.

Котлах без звука прошёл через коридор и взял трубку, лежавшую на вязаной салфеточке, прикрывавшей ночную тумбочку. На этой салфеточке помещалась гипсовая собачка и фигурка декольтированной андалузки.

— Котлах у телефона.

— Наконец-то! Говорит Мунцлингр. Но ты в самом деле не пьян?

— Я не пьян, — сказал Котлах. Мунцлингр был заместителем главного редактора.

— Что-то твои домашние не очень были, в этом уверены. И днём ты не был пьян? Не дёрнул малость с этими морильщиками крыс? Нет, правда, не дёрнул? Тогда одевайся и приезжай. Мне надо с тобой поговорить. Будет тебе весело.

— А ваша супруга ревёт у себя в комнате, — заявила пани Гамрникова. — Да и мне тоже сдаётся, теперь вовсе не

время вам тащиться в пьяную компанию. Я вам только скажу, что ни капельки не удивляюсь, что ваша жена хочет пожить в своё удовольствие. Я и на суде могу так заявить, коли на то пошло. И в домовый комитет сообщу. Всё равно там будут обсуждать всё, что у нас в квартире делается, так что не думайте! Не выйдет это у вас, не спрячетесь за ваше ремесло!



— Послушайте...

— Ничего, ничего, там поговорим, — сказала пани Гамрnikова и сильно захлопнула за собой дверь.

Котлах вошёл было к себе, но, увидев, что от кушетки к окну течёт целый ручеек слёз, осторожно прикрыл дверь и снял с вешалки плащ.

За шкафом в коридоре блеснула потёртая золотая тесьма на чёрной шляпчонке.

— Сударь, — учтиво обнажая голову, молвил Кокеш, — мои услуги не нужны? Я тут слышал какой-то шум...

Котлах вперил в гнома почти невидящий взор.

— Нет, — вздохнул он. — Пока что не требуется. Спасибо, Кокеш.

Заместитель главного редактора Мунцлингр был великолепный работник. Он пользовался необычайным уважением. И пользовался им заслуженно. Он и сам себя уважал. Пи-

сал он, правда, немного, зато был ортодокс, что в общем-то вовсе ему не мешало. Людей ведь судят не за умные дела, которые они совершают, — это их обязанность, — а за ошибки. Товарищ Мунцлингр не делал ошибок, а потому и не подлежал никаким осуждениям. В равной мере он не совершал и подвигов. Подобные умеренно прогрессивные работники — становой хребет всякого дела.

Не совсем, конечно, пристало ортодоксу носить очки, но товарищ Мунцлингр носил их. Красивые очки. Не такие, какие носят сапожники, не оправленные толстой проволокой, какой пломбируются сейфы, и не подозрительно-заграничные в широкой оправе. У товарища Мунцлингра очки были красивые, без оправы вообще, умеренно прогрессивные. И он как раз протирал их, когда явился Котлах.

Мунцлингр был очень мил. Сначала он пояснил, что такое очерк и что — репортаж. Потом распространился на тему о том, что не является ни очерком, ни репортажем. Затем остановился на отношении трудящегося человека к идеологическому балласту, а закончив лекцию, осведомился:

— Ты был в коллекторе, Котлах?

— Я был в коллекторе, — сказал Котлах.

— Допустим. Мы послали тебя в коллектор, чтобы ты написал, как работники коллектора борются за улучшение рабочего процесса. А что ты принёс нам после того, как провёл там целый рабочий день? Что ты нам — то есть не нам, а читателю — что ты ему об этом рассказал? Вот что ты рассказал!

— Да я...

— Не сомневаюсь, но я ещё не закончил. Ты не сердись, понимаешь, я ведь не хочу тебя обидеть, но вот что получается, когда человек прогуливает целый рабочий день. Я не говорю, что ты прогулял, я не хочу быть несправедливым к тебе, но написал ты так, как будто прогулял. Понимаешь, один и тот же результат.

— Я не согласен, — возразил Котлах. — Конечно, если ты так полагаешь, я могу взять мой материал назад. Могу что-нибудь там переделать.

— Переделывать там нечего. Конечно, ты сядешь и напишешь снова, если, говоришь, ты там был. С твоей стороны тут не будет никакой заслуги. А твоё писание мы поместим в стенгазету, пусть все читают. Только я, с твоего разрешения, вычеркну там кое-что. Это не в порядке наказания, это просто идеологическая борьба. Ты написал это для опубликования, и то, что я тебе предлагаю, тоже есть известная форма публикации.

— В этом нет ничего плохого, — сказал Котлах.

— Вот видишь. Всегда лучше пресечь в зародыше. Карлики, гномы — уход от действительности. Кое-кому такой уход нужен. Послушай, дома у тебя всё в порядке?

— Я никому не позволю строить из себя дурака, — заявил Котлах. — А уж если, то лишь в определённых границах.

— Я тоже так думаю, — отозвался Мунцлингр. — Строить из себя дурака, как ты говоришь, ты никому не позволишь. Для этого ты достаточно умён. Но есть разница между умом и умствованием, сам понимаешь. Всяких там гномов можно видеть либо по недосмотру — то есть под влиянием алкоголя — или же, так сказать, сознательно. Например, для того, чтобы не видеть другого, что кое-кому из наших интеллигентов кажется недостаточно высококультурным. Нет, всякий должен задуматься, отчего это ему видятся разные гномы.

Котлах вышел в коридор, попытался зажечь пустую трубку, потом снова спрятал её.

— Кокеш, — глухо позвал он.

Кокеш выскочил из умывальной комнаты, таща за собой свою дубинку.

— Что хочешь? — спросил он, готовый действовать, и поднял на Котлаха свои бесхитростные глаза, полные большой, близкой к осуществлению, надежды. Котлах провёл рукой по лбу.

— Нет, нет, — хрипло молвил он, — извините, это я по ошибке. Простите за беспокойство.

— Ничего, сударь, — грустно ответил гном.

Через два часа Котлах положил четыре страницы машинописного текста на стол в секретариате, запер дверь своего

кабинета, а ключ повесил на общую доску. Его статья касалась гигиенических проблем декрысизации и успехов в этой области, связанных с успехами во всех других областях. То была чрезвычайно поучительная статья. Она называлась: «Труженики подземелья».

Когда Котлах вышел на улицу, уже стемнело. Было ещё не поздно, но осенью ведь рано смеркается. Подмаргивали неоновые огни, и в воздухе носился запах гниющих листьев. Котлах сунул руки в карманы расстёгнутого пальто и медленно побрёл к закуской-автомату. Он соображал, есть ли у них дома проволока. Согнуть проволоку крючком и вытащить из унитаза маленького, глупого медвежонка из серого плюша...

— Пожалуйста, кофе, — сказал он, подходя к прилавку. Человек в шляпе на затылке, стоявший впереди Котлаха, обернулся, будто ужаленный, и показал своё багровое лицо.

— А ты не лезь, приятель, понял? Лезет вперёд...



Это был пьяница из семейства задир, которые по воскресеньям, на трибунах рингов, вскакивают с рёвом: «Дав-вай, б-бей!».

— Будьте добры, чашечку кофе, — обратился репортёр к девушке за прилавком в подчёркнуто миролюбивом тоне.

Пьяница схватил его за рукав:

— А, не хочешь разговаривать, брезгуешь?!

— Брось, Карлушка, — предостерег пьяницу его приятель, сидевший за ближним столиком. — Это ведь газетчик, я видел, как он из редакции прётся, ты его лучше оставь. Он так тебя осрамит, что не поздоровится! И все ему поверят.

— Нет, погоди, — качался на ногах Карлушка, — я ему покажу, как срамить приличных людей, которые никого не трогают!

Котлах положил на стол три кроны за кофе и вышел.

— Нет, погоди, я ему рёбра пересчитаю, — не унимался Карлушка; внезапно он рванулся к двери и вывалился вслед за Котлахом на улицу, почти пустынную в это время. Полы пальто трепались о его согнутые колени, руки бессильно свисали по бокам, как у шимпанзе.

— Куда же ты спешишь, приятель? — схватил он Котлаха за плечо, дыша в лицо винным перегаром.

— Отстаньте, — сказал Котлах. — Идите прочь!

Он чувствовал, что верхняя губа у него поддёргивается, как у собаки, которую дразнили слишком долго.

— Идите прочь, — ещё раз крикнул он тёмной фигуре, которая расплылась у него в глазах — такая ярость охватила его. — Убирайтесь отсюда, понятно?!

— Ага! — взвыл Карлушка. — Ты так! Думаешь, ежели ты интеллигент, то можешь каждого оскорблять? Ну погоди, я тебе покажу...

Тёмные круги пошли у Котлаха перед глазами, потом слились в одно большое пятно.

— Кокеш! — гаркнул он.



— Что хочешь? — выскочил гном из подъезда, обеими руками сжимая рукоятку дубинки.

Котлах посмотрел на одутловатое лицо Карлушки, отступил на шаг и повернулся к нему спиной.

— Того, кто за моей спиной, своей дубинкой успокой! — быстро проговорил он.

Кокеш подпрыгнул, взмахнул дубинкой, раздался глухой удар. Что-то треснуло, что-то металлическое упало на тротуар. Котлах обернулся.

Пьяница шатался, его сплюснутая шляпа съехала почти на ворот пальто, и он озирался с идиотским видом.

— Да у него чёрт! — вдруг в ужасе заорал он и, взмахивая руками, как утка крыльями, побежал навстречу подъезжающему такси.

Кокеш сидел на корточках под деревом, с безнадёжным видом прикладывая друг к другу половинки переломленной трухлявой рукоятки.

— Простите, сударь, — он виновато взглянул на Котлаха, — мне надо сбегать за новой рукояткой... Не можете ли вы тем временем проследить за этим господином...

Он вскочил и, пользуясь обломком рукоятки как рычагом, ловко приподнял решётку канализационного люка.

— Послушайте, Кокеш!

— Что угодно, сударь?

— Не надо дубинку. Лучше бы вы принесли мне, если можно, кусок проволоки, длиной примерно в метр. Я буду ждать вас дома.

— Слушаюсь, сударь, — с некоторым недоумением произнёс Кокеш и спустил ножки в люк. — Но, прошу прощения, я не умею проволокой...

— Я знаю, Кокеш.

Когда решётка люка захлопнулась за гномом, Котлах сел на край тротуара, опустил голову на руки, и расплакался так, как не плакал с девятилетнего возраста. Он всхлипывал, шмыгал носом, а слёзы ручьём катились по его толстому лицу.

Плакал он не от того, что разочаровался в Кокеше, и даже не от того, что имел сегодня очень неприятный день...

Kokes, 1961
Перевод: Н. Аросева
Иллюстрации: Е. Шукраев, С. Дуда



ШАГ В СТОРОНУ

I

— Не хочешь ли ты совершить загородную прогулку?
— спросил Старик.

Я не хотел. Мне совершенно определённо не хотелось никуда уезжать, потому что я пообещал Карлу всю эту неделю смотреть за его котом. К тому же в тот вечер я должен был идти в «Метеор» на свидание с девушкой. Да ещё шёл дождь. Но не мог же я сказать «нет», потому что Старик спрашивал не просто из любопытства. По всему было видно, что я обязан совершить эту загородную прогулку. Ну, я и сказал «да». И спросил куда, потому что Старик нравится, когда проявляют интерес. В конце концов почему бы не доставить ему удовольствие! Пусть себе думает, что у него толковые сотрудники.

Не то чтобы я выслуживался перед начальством (если бы я выслуживался, так имел бы чин повыше), просто-напросто я Старика люблю. Хоть он и начальник, но человек очень порядочный, разговаривает с людьми спокойно и не делает глупостей. Это, наверное, и потому, что он уже довольно пожилой, хотя я бы и в его годы не смирился с тем, чтобы меня называли «Жирардо», «Капитан Жирардо». Человек волей-неволей сразу представит мушкетёра с усами, а вся беда в том, что Старик скорее похож на поросёнка. Такой розовенький, только немножко потрёпанный. К тому же он не француз, а итальянец. Его дедушка переселился сюда из Италии. В Коширжах у него была лавчонка с итальянским мороженым, которую он величал «Фирмой Бардолетти». На самом деле фамилия у него была Жирардо. Старик с детства даже смотреть на мороженое не мог. Его отец мечтал, чтобы сын унаследовал «фирму», то есть лавчонку, и запретил обучаться какому-либо другому ремеслу. Старик пришлось остаться на военной службе, потому что продавать мороженое он не хотел. А потом, ещё перед войной, он перешёл в полицию. Во время войны он был в «криминалке». В сорок втором его по-

садили, потому что он помогал разным «неблагонадёжным». Сидел он до конца войны. Старик никогда об этом не вспоминает, но я думаю, что заключение было не из весёлых.

Надо сказать, что наши отношения с ним складывались довольно странно. Сначала я его не терпел, как-то ему не верил. Удивляться нечему. Когда я перешёл из армии в корпус национальной безопасности, это было года четыре назад, я задираю нос, как и всякий юнец. Мне казалось, что Старик противный человек, равнодушный, без огонька. Словом, прогоревшая печь. Меня раздражала даже его помятая шинель. Думал, носит её, как не слишком удобную шкуру, в которую влез по приказу и которую без особого сожаления по приказу же может сменить на любую другую. Такой вот «трофейный командир», как говорили у нас на батарее.

Кроме того, меня раздражала ещё одна его манера. На военной службе я привык к тому, что люди должны говорить высокоидейно. А мой начальник говорит, как ему вздумается. Я ни разу не слышал, чтобы он сказал «сознательность», «классовая совесть», «политическая необходимость». Когда ему нужно было высказать своё мнение, он говорил «это разумно» или «это неразумно» — и всё. К тому же частенько ухмылялся, что меня особенно задевало.

Короче говоря, Старик пил мою кровь. Не будь я сознательным, мог бы в нём подозревать недобитую контру. Поэтому я стал присматриваться, когда он ухмыляется, а когда не ухмыляется и что он вообще делает, как поступает в том или ином случае, какая вокруг него атмосфера. И вдруг понял, что он никогда не усмехнётся, если речь идёт о чём-нибудь серьёзном. Он ехидничает только в тех случаях, когда из мухи делают слона. Ну, а мне это уже нравилось. Я увидел, что он всегда поступает разумно и что, собственно, если так можно сказать, не говорит «высокоидейно», а действует «высокоидейно».

Всё это дошло до меня не сразу. Но дошло. И когда через некоторое время Старик давал мне рекомендацию в партию, я узнал, что его самого приняли в партию в концлагере. Но узнал не от него. Может быть, не следовало так распространяться о Старике, потому что во всей этой истории он не

играет особой роли, но что поделаешь! Я рано потерял отца, и какая-то пустота у меня в сердце оставалась незаполненной. Пусть я знаю, что сам должен вытирать себе нос и что мне никто не принесёт с ярмарки пряничного гусара, но есть во мне что-то такое к Старик, и от этого никуда не денешься.

Но само собой, я бы никогда не сказал ему об этом.

...Да, так вот, я его спросил, куда нужно ехать, а он говорит, что в Дечин.

— Товарищ капитан, — спрашиваю, — а можно мне взять с собой кота?

— Чтобы ты там не боялся?

— Нет, чтобы кот не боялся. Я за ним всю эту неделю должен смотреть.

Старик поморщился.

— Ладно, оставь его здесь, я ему буду давать кожуру от колбасы.

Нет, Старик действительно замечательный человек. Другой бы на его месте заорал: «Товарищ младший лейтенант, выполняйте приказ!», и так далее, а если здесь был бы Вильда Бахтик, он наверняка бы заявил, что кот не должен служить препятствием на пути к достижению великих целей. «Великие цели» заслуживают всяческой похвалы. Но коту тоже нужно питаться. Я это понимаю, и Старик слава богу тоже, а Бахтик нет, или он делает вид, что не понимает. Но я думаю, что он на самом деле не понимает. Такие люди, как он, всегда мыслят масштабно: «с целями», «идеалами», «взглядами» и так далее. Мне кажется, что хорошо подвешенный язык и великие цели не должны взаимно обуславливать друг друга. Люди бывают разные. Представьте себе, кто-то из нас находится в приличном обществе и вдруг ему понадобилось выйти. Есть такие, которые посмотрят на часы, встанут, заявят, что им нужно срочно отлучиться по служебным делам, о которых они в данную минуту не могут говорить более подробно, но которые не терпят отлагательства. И выплывут под восхищённый гул присутствующих. Есть и такие, которые извинятся и прямо скажут, куда идут. Я думаю, что отношусь ко второй категории, а Бахтик наверняка — к

первой. А один раз он подмигнул мне и сказал: «Понимаешь, будь моя воля, я бы его с радостью треснул».

Только если бы его треснул я, Бахтик начал трепаться бы в соответствующих инстанциях, что, мол, мы должны являть собой единый прочный коллектив, чтобы достойно отразить вылазки внутреннего врага, но что товарищ младший лейтенант Блажинка не является достойным членом этого коллектива, потому что он пинается в зад. Бахтик всегда выражается соответственно, чтобы не испортить себе репутацию.

Когда мы покончили с котом, Старик вытащил из стола папку, из папки — лист бумаги и говорит:

— На, прочти, это о тех часах.

С часами всё это выглядело примерно так. В последнее время у нас на «чёрном рынке» появилось много часов из Западной Германии. Без разрешения на ввоз, то есть без пошлины, просто контрабандных. Такие штампованные часы обычно продаются по дешёвке на ярмарках, но отделаны они здорово. И люди попадались на удочку. Люди вообще охотнее покупают контрабандные или краденые вещи, наивно полагая, что это выгодно. Но на краденое выгадывает только перекупщик, а на контрабанде только контрабандист, но это уже, как правило, недоступно людскому разуму. И считают, что злые блюстители закона не дают им заработать на простачке контрабандисте.

Красная цена этим часам была крон пятьдесят, а продавались они за триста пятьдесят — пятьсот, вероятно, чтобы покупатели имели возможность «выгадать». Часов было много. В пассаже «Коруна» схватили одного парня, но этот парень объяснил, что купил часы у другого парня в пассаже «Прага» за триста крон. Судя по всему, это была правда. Парень больше ничего не знал и мужественно пошёл отбывать наказание. А часы всё покупались. А раз покупались, так, значит, их кто-то должен был продавать. И провозить контрабандой. Но кто этим занимался, мы не знали. Все пострадавшие в один голос заявляли, что купили часы у незнакомого мужчины. Всё это было похоже на правду, потому вряд ли кто рискнёт продать такие часы знакомому.

В своё время мне поручали расследовать дело с часами, но тогда за неимением фактов дело заглохло. Просто усилили таможенный досмотр.

И вот теперь нам писали из Дечина. Там парень утонул, в карманах у него было штук десять часов. Это были как раз те самые часы. Парня вытащили позавчера и сразу же сообщили нам. Причину смерти — убийство или что-нибудь другое — выясняли в Дечине. Наш отдел интересовали главным образом эти часы.

Я не совсем ясно понимал, зачем мне нужно именно сейчас ехать в Дечин. Было бы лучше выждать, чем там кончится следствие. Я так и сказал Старику, потому что знал, что он не сочтёт это за отговорку. Он реагировал совершенно нормально.

— Пожалуй, — говорит, — ты прав, но всё-таки съезди туда. Делу это не повредит. Местный следователь поведёт расследование о причинах смерти, а ты — о часах. Так с миру по нитке — голому рубаха.

Что ж, Старик был прав.

II

Дечинского утопленника я, конечно, не знал. Он находился уже в таком состоянии, когда опознание почти невозможно. Врачи утверждали, что утонул он давно, недели три назад. Возраст тридцать пять — тридцать шесть лет, волосы светлые. При нём почти ничего не было. Носовой платок, целлулоидная коробочка для сигарет, в ней пачка от сигарет, спички и нож. Костюм приличный, купленный в магазине готового платья. Руки, насколько удалось установить, свидетельствовали о физическом труде. В Дечине предполагали, что утопленник был речником. Но пока никого не искали. А устанавливать, кто болен или у кого отпуск, кто уволился и кого уволили, — это утомительная и нецелесообразная работа, пока нет доказательств, что этот человек действительно был речником.

В общем слишком много тумана.

А главное, неизвестно, была ли смерть насильственной. Может быть, самоубийство. Не исключена возможность, что

этот гражданин, нализавшись до чёртиков, сам свалился в Лабу. Деньги и документы, которые люди обычно носят с собой и которых у него не нашли, пьяный мог вытряхнуть где-нибудь в другом месте. И неизвестно также, что он утонул именно в Дечине, может быть, его принесло течением бог знает откуда. Нашли его недалеко от пристани.

Конечно, в этом нет ничего удивительного и ещё меньше загадочного. Личность каждого покойника рано или поздно бывает установлена. Ведь долгое отсутствие обычно вызывает беспокойство близких, и человека начинают разыскивать. Потом сопоставляют факты, и всё становится на свои места. Конечно, не сразу. Нельзя перевернуть всю республику вверх ногами только из-за того, что кого-то вытащили из воды, но кого именно — неизвестно. На всё нужно время.

Но, как говорится, кто по годам, а мы по часам.

Это были те самые часы. В воде они немного поржавели, нож тоже. Спички совершенно размокли, коробочка для сигарет была самая обыкновенная, какую всюду можно купить за полторы кроны, носовой платок тоже ничем не примечательный, без метки из прачечной. Дечинцы всё это исследовали, записали, описали и сложили в ящик. Они обратили внимание на то, что на пачке от сигарет, которая лежала в целлулоидной коробочке, что-то написано химическим карандашом. Всё это должно было совершенно размокнуть, но как-то случайно бумага прилипла к целлулоиду, поэтому можно было разобрать, что там написано. Выглядело это так: «Будей площ. субб. воск. 7 ост.»

Поскольку мне ничего другого не оставалось, я стал делать предположения. Это моё любимое занятие.

«Будей», думал я, означает «Будейовицы», «площ.» — площадь». О Будейовицах я знаю немного. Был я там один раз, лет пять назад. Там в вокзальном ресторане у меня украли перчатки. «Ост.», очевидно, обозначается «остановка» — значит, семь остановок. Видимо, запись имеет отношение к какому-то транспорту. Она была важной для владельца целлулоидной коробочки. Семь остановок от Будейовиц — это может быть что угодно. Правда, если бы это «площ.» — «площадь» — имело отношение к этому «чему угодно», тогда

бы запись выглядела иначе: «Будей — 7 ост. — площ.», а не так, как было на коробочке. Значит, это «что-то» находилось за семь остановок от площади в Будейовицах. С площади, вероятно, уходит автобус. «Субб. воск.» — означает субботу и воскресенье. Вероятнее всего, там есть специальный автобус для туристов. Последнее — это уже слишком отдалённое предположение, потому что автобус может курсировать каждый день, а пометка «субб. воск.» может означать, что только в субботу или в воскресенье посещение данного места имело смысл для владельца целлулоидной коробочки. Так здорово я всё это «предположил», что даже сам удивился своим способностям.

Потом взял расписание движения автобусов. Из Будейовиц в субботу и воскресенье особые автобусы для туристов не выезжали. Если бы это был какой-то специальный рейс, человек, сделавший запись, должен был бы как-то отметить для себя, какие именно суббота и воскресенье. Правда, были такие станции, где автобусы останавливались только в субботу и в воскресенье из-за туристов. Я рыскал по расписанию, как муравей, по всем направлениям, какие только можно было принять во внимание. «Седьмая от площади, только в субботу и воскресенье» — Ципрбург — замок.

По всем правилам игры мне следовало немедленно отправиться по следу в замок Ципрбург поездом, самолётом, верхом и на тачке, как говорит Карел Чапек. Только я уже лет пятнадцать не играю в индейцев, поэтому спокойно вернулся в Прагу, чтобы посоветоваться обо всём со Стариком.

III

Когда я ввалился к нему, у него торчал Вильда Бахтик. Наверное, излагал ему свою точку зрения, потому что Старик кивал головой и недовольно морщился. Я встал по стойке «смирно» и сказал:

— Товарищ капитан, разрешите доложить!

Я не знаю более приличного способа выжить когонибудь, чем официальный тон. Порядочный человек встанет и уйдёт, он поймёт, что разговор не для его ушей. Я не хочу сказать, что Бахтик непорядочный, но он торчал на своём ме-

сте как ни в чём не бывало. Можно было подумать, что он даёт мне аудиенцию. Старик сообразил, в чём дело.

— Так... На сегодня достаточно, товарищ лейтенант, продолжайте в том же духе.

Вильде ничего другого не оставалось, как сказать:

— Разрешите идти?

Потом я рассказал Старiku обо всём, что увидел в Дечине, и выложил ему свои соображения. Теперь я уже не казался себе таким умным. Теперь я сообразил, что с площади в Будейовицах ходит и троллейбус, и хотя это было маловероятно, я всё же не проверил, не делает ли и он специальных остановок. Но было поздно. Мне ничего не оставалось, как только ждать, когда Старик скажет: «Клетчатые кепочки оставьте в прихожей». Он всегда так говорил, когдаследователь слишком увлекался методом дедукции.

Но он ничего не сказал. И тогда я сам заикнулся об этом троллейбусе. Старик махнул рукой.

— Мне бы не хотелось, чтобы ты ещё куда-нибудь ездил. Этот кот ужасно нечистоплотный, всё время гадит за шкафом. Но думаю, что всё-таки не мешало бы туда заглянуть.

— За шкаф? — спросил я. Старик поморщился.

— В Ципрбург, или как его. Я от этой поездки ничего особенного не жду, всё это сплошные фантазии, но попытка не пытка. Всё равно ведь тебе больше не за что сейчас уцепиться.

Ну что ж, Ципрбург так Ципрбург.

— Действуй там сам. Местную милицию, если там такая есть, не впутывай в это дело, потому что мы сами не знаем, чем бы они нам могли помочь. У тебя есть фотографии из Дечина?

Я достал снимки.

— Эти фотографии лучше никому не показывай, — сказал он, взглянув на них. — Личность по ним не установишь, а могут подумать, что ты просто пугаешь привидением. Короче говоря, осмотри там, может, тебе и попадётся что-нибудь на глаза. А если нет, так дня через два возвращайся, будем ждать. Можешь ехать туда как турист.

— В будни туда туристы не ездят, — говорю, — потому что это специальная остановка, а в воскресенье и в субботу там полно народу.

— Так мы тебе достанем бумагу, что ты из министерства культуры, из строительного управления. Тогда тебя всюду пустят. Приходи сюда завтра утром и сразу же поедешь.

Я поблагодарил его и сказал, что захвачу с собой кота и отдам его хозяину.

— Сделай милость. А в следующий раз принеси мне сюда павиана. Павианы — моя слабость.

В семь утра я опять был у Старика. Он дал мне бумагу, в которой было сказано, что министерство культуры, отдел охраны памятников старины удостоверяет, что товарищу Войтеху Блажинке, технику-строителю, поручено произвести ревизию технического состояния памятников старины и исторических зданий.

В Будейовицы я попал к обеду. Перчаток у меня на сей раз не было. Я сел в пустой автобус. Правда, там было несколько женщин, которые, очевидно, приезжали в Будейовицы за покупками. В посёлке Ципрбург я вышел один. Весь Ципрбург — приблизительно пятьдесят домиков, разбросанных по обеим сторонам шоссе.

Автобус тронулся, и я осмотрелся. На тротуаре перед вывеской «Едноты — пивная, мясо, промтовары и продовольствие, телефон» стоял прокуренный дед в жилетке. В руках он держал прут и без всякой надобности нагонял страх на единственного гуся, который выбирался из двора.

— Простите, — спрашиваю, — как мне попасть в замок?

Дед зашикал на гуся и мудро сказал:

— В замок? В замок сейчас никто не ходит. Там сейчас никаких туристов нету.

Если мы хотим, чтобы о нас что-то знала вся округа, лучше всего с этого и начать. Дедушка скажет бабушке, бабушка — деревне. И всё в порядке.

— Я знаю, — говорю, — только я, дедушка, произвожу ревизию замков.

Дед моргнул и немного испугался. Люди всегда пугаются, когда сталкиваются с ревизией. Наверное, дед припомнил, не спрятан ли у него дома замок.

— А, замки?..

— Замки, но только большие, а не те, что стоят в палисаднике с карликами... Так что как мне пройти в Ципрбург?

— Идите назад по шоссе, — сказал дед, — как вы ехали автобусом, а за вторым поворотом есть дорога направо. А там стрелка.

Дорога действительно сворачивала направо. И стрелка была. И холмик, это уже хуже, потому что я не люблю лазить по горам. Нету ничего плохого в том, что я люблю удобства. Некоторые люди разными изощрёнными и по возможности дорогими способами создают себе неудобства. С такими мне не по пути.

Замок, как нарочно, был на самой вершине холма. В стене — ворота. Я постучал. Ни ответа, ни привета. Будь я на двадцать лет моложе или романтиком, я бы вообразил себя послем, несущим в замок важную весть. Ну, а я себе казался скорее ослом, потому что замок был огромный и ужасно запущенный. Послу положено постучать в ворота эфесом шпаги. Шпаги у меня не было, и колотил я в ворота ногами. Но всё понапрасну.

Я сообразил, что мне, вероятно, придётся спуститься вниз, в деревню, и разыскать там кого-то с ключами, если они вообще у кого-нибудь имеются, а потом снова взобраться на холмик. От одной этой мысли я так расстроился, что с горя стал изо всех сил барабанить в ворота. На сей раз успешно.

— Эй, перестаньте! — заорал кто-то за стеной.

— Откройте! — кричал я.

— И не подумаю, — грубо ответил тот же голос. — Обойдите кругом. Там есть двери.

Направо я идти не мог, потому что путь был преграждён кучей камней и щебня. Налево шла тропинка. За углом стена была разрушена и вместо неё натянута проволочная сетка. Дальше на той же уцелевшей части стены висела табличка со львом: «Замок Ципрбург» — и у стены росли сорняки. Тропка расширилась в площадку, к которой с другой стороны под-

ходила проезжая дорога. Через решётку виднелся дворик, а там стоял тощий дядя в вельветовой кепке и рубил дрова.

Когда я подошёл поближе, он поднял голову.

— Что вы орёте, разве так делают?

Я оставил его вопрос без ответа и открыл калитку. Дядя в кепке всадил топор в полено и направился ко мне явно с враждебными намерениями.

— В ворота не колотят, — заявил он, — если бы все начали по ним колотить, что бы от них осталось?

Видно, ворота были прочные. Но лучший способ обороны, как известно, наступление. Я рассвирепел.

— Почему у вас там нет стрелки?

— А зачем ей там быть? — отрезал дядя в кепке. — И вообще — вам-то что за дело?

— Вот, — сказал я и величественно протянул ему министерскую бумагу.

Но человек в кепке испортил мне весь эффект.

— Прочитайте мне, у меня с собой нет очков.

— Так сходите за ними, — сказал я. Глупо читать кому-то бумагу о своих полномочиях.

Он взял удостоверение и унёс его в домик, стоявший в углу двора. Через несколько минут вернулся.

— Вам нужно ехать в Будейовицы, — сказал дядя.

— Зачем? — спрашиваю.

— Потому что здесь никого нет.

Видимо, он считал этот вопрос решённым и направился к своим дровам. Меня такая ситуация не устраивала. Не имело смысла силой ломиться в Ципрбург, предварительно полавшись с каждым.

— Послушайте, — обратился я к дяде, — не сердитесь, что я стучал в ворота, я действительно не знал, как сюда попасть. Да, извините, моя фамилия Блажинка.

— Жачек, — нехотя ответил мужчина.

— Вы управляющий?

— Нет, я здесь живу. Управляющий — Вегрихт. Он в Будейовицах. Лучше будет, если вы к нему заедете.

Мне было непонятно, почему пан доктор Вегрихт в Будейовицах, если замок Ципрбург здесь. Дядя в кепке объяснил:

— У пана доктора не один этот замок, а все замки в округе. Он сюда только иногда заезжает. А здесь, в Ципрбурге, управляющий пан Кунц.

— А где же пан Кунц?

— Вообще-то он здесь живёт, но сейчас его нет дома.

— А когда он вернётся?

— Ну, я не знаю... Наверное, вечером.

— Если вы не возражаете, я здесь подожду пана Кунца.

Жачек засомневался, вернётся ли Кунц до вечера. Лучше бы было прийти завтра. Но я уселся на каменную тумбу, вытащил сигареты и предложил ему. Он взял. Я поднёс ему зажигалку. Проверенный способ. Сигарета — путь к сердцу человека. Дайте любому двадцать геллеров, которые она стоит, и он швырнёт деньги вам в лицо, ну, а сигарета может расположить к себе большинство людей.

— Не сидите здесь, господин инженер, — внезапно смягчился Жачек. — Замажете брюки.

— Никакой я не инженер, пан Жачек, — бодро возразил я. — Я совсем обыкновенный человек. Был бы я инженером, так получал бы две тысячи и сидел бы в Праге, а не лазил по подвалам.

Жачек совсем растаял.

— Ну, да я вот тоже пенсию получаю мизерную, а нас двое.

— Ну, квартира-то у вас, наверное, бесплатная?

— Бесплатная, старуха здесь убирается, платят ей за это двести пятьдесят крон. Разве на это проживёшь? Ходим в лес подрабатывать. Сами понимаете, в наши-то годы это не шутка!

Я согласился, что это не шутка. Тогда Жачек предложил мне зайти к ним и добавил, что пан Кунц скоро вернётся и всё покажет.

Он провёл меня в маленький домик, снял кепку, под которой был голый череп. В кепке я бы дал ему лет пятьдесят. А без неё было видно, что ему уже под шестьдесят, а может быть, и больше.

— Сыро здесь у нас, — сказал он, — нельзя ли с этим что-нибудь сделать?

Так далеко я не хотел заходить. Поговорить с людьми по-хорошему — пожалуйста. Но обещать что-нибудь — это уже слишком.

— Это сложно, — схитрил я, — стена, очевидно, старая, а соседний массив притягивает влагу. А потом ваш домик стоит в углу. Солнце сюда почти не попадает. Подвал у вас есть?

— Подвал есть. Да там воды полно. Наверное, от неё и сырость.

Как только он сказал «вода», мне сразу захотелось пить. Конечно, не ту воду, что булькала в подвалах.

— Пан Жачек, извините, что я вас беспокою, но не найдётся ли у вас чего-нибудь попить?

— Найдётся, — охотно ответил Жачек. — Старуха в субботу и воскресенье продаёт туристам пиво и лимонад. Пива сейчас нет, завтра поеду с тележкой в деревню. Есть только лимонад.

Я согласился на лимонад.

— Старуха! — заорал Жачек.

Из соседней комнаты вышла бабка.

— Старуха! — рывкнул Жачек. — Это господин из строительной инспекции. Ждёт пана Кунца. Сделай ему лимонаду. Он пить хочет.

Я представился, и бабка протянула мне руку, изъеденную мылом. Сначала она вытерла её о фартук. Через несколько минут она принесла лимонад в пол-литровой кружке. Лимонад бывает двух сортов. Один, готовый, продаётся в бутылках, а другой на месте смешивается с водой и с какой-то дрянью. Это был лимонад, приготовленный в местных условиях.

— Спасибо, — говорю, — сколько я вам должен?

— Две кроны, — не моргнув глазом ответил Жачек. И даже не покраснел. Кружка была грязная. Но для выполнения задания каждый из нас должен мобилизовать все свои силы, невзирая на трудности, как говорит Вильда Бахтик.

Выпив эту отраву, я вышел во двор и осмотрелся. Замок был небольшой, похожий на шкатулку. Собственно, это было одно здание, выходящее фасадом на дорогу, по которой я пришёл. В переднем правом углу — круглая башенка, в заднем левом — башенка квадратная. Сзади тянулись полуразрушенные низкие строения, из которых в приличном состоянии был только домик Жачек.

Замок и окрестности его нагнали на меня тоску, а пана Кунца всё не было. Я не совсем ясно представлял себе, что, собственно, здесь должен делать дальше. Проболтаюсь день-два, послушаю рассказы о внешнем и внутреннем укреплении, о сводах, узнаю, что необходимо починить крышу, чтобы не сгнили балки, буду говорить «м-м» и «ага», потому что ни шута в этом не смыслу. Кроме того, я не знал, где буду спать, и буду ли вообще спать, и что буду есть. Может быть, пани Жачкова, добрая старушка, что-нибудь и сварит для меня и обдерёт меня как липку.

Действительно, незачем было сюда тащиться, нужно было уговорить Старика. Но мне ведь ещё ни разу не приходилось бывать в каком-нибудь замке. Что ни говори, а все мы немного мальчишки. На холме замок, в замке склеп, там сидит управляющий и пересчитывает контрабандные часы. Тьфу!

Взял я папку и пальто, узнал у Жачека, что последний автобус в Будейовицы отходит через полчаса, и потопал вниз с холма. Я понимал, что делаю глупость. Завтра утром, когда я вернусь, всё уже будет припрятано, если вообще есть что прятать. Жачек не предложил мне переночевать у себя, а ключей от замка у него не было, потому что там якобы были ценные коллекции, и ключи хранились у Кунца.

Я был на полпути, как вдруг услышал треск мотоцикла, поднимающегося на холм. Очевидно, кто-то ехал по другой дороге. Я не знал, есть ли у Кунца мотоцикл, но всё равно интересно было, кто это поздно вечером приезжает в Ципрбург и что ему там надо. Я повернул обратно.

Когда я поднялся на холм, Жачек запирает висячим замком калитку.

— Вы что, мотоцикл услышали? Пан Кунц приехал.

Двери заднего входа были открыты.

— Пан Кунц живёт в башне налево! — крикнул мне вслед Жачек. За дверями начиналась какая-то подворотня, проходившая под всем зданием. На другом конце были эти проклятые главные ворота, направо и налево были ступеньки, какие-то двери. В подворотне, в темноте, я налетел на мотоцикл. Зажёг спичку. Это была старая «Ява».

Я постучал.

— Да, — ответили мне из-за двери.

Комната была большая и почти пустая. Против двери стоял массивный письменный стол, рядом кресло в стиле ренессанс, около стены огромный шкаф, а в углу, как сиротинка, раскладушка, покрытая стёганым одеялом. В противоположном углу был камин, на камине стояла спиртовка, на спиртовке кастрюлька, возле кастрюльки стоял пан Кунц и держал в руке четыре сосиски.

На вид ему было лет двадцать пять. Он был в замшевой куртке, светлых брюках и улыбался во весь рот.

Я положил папку на пол и бросил на неё пальто.

— Подождите, — сказал Кунц, опустил сосиски в кастрюльку, взял моё пальто, повесил его на стул и подвинул мне кресло.

— Если не ошибаюсь, — улыбнулся он, — вы и есть тот самый человек, которого интересуют кровли.

— Кровли, — подтвердил я, — склепы, подземные ходы и в равной мере висячие мосты.

— Должен вас огорчить, висячих мостов уже нет, — скорчив скорбную мину, парировал управляющий, — пару веков тому назад их разрушили гунны. Да и всего остального не так уж много, замок наш не из богатых. Пан Жачек сказал мне, что приехал инспектор. Я думал, что вы придёте завтра утром. По правде говоря, я заранее предвкушал удовольствие, потому что тут ещё ни разу ни одного инспектора не видел.

Мне стало весело.

— Так радуйтесь — я уже здесь. Можете убедиться, что я действительно инспектор, вот вам удостоверение.

— Спрячьте его. Терпеть не могу бумажек. Жачек его видел, а этого больше чем достаточно.

— Он меня ужасно выругал, ваш Жачек, потому что я барабанил в ворота.

— Это запрещено, так что вы не удивляйтесь. Приезжего сразу узнаёшь, знай ломится в ворота, — продолжал Кунц. — Старик Жачек, наверное, перепугался. Он раньше был жандармом и до сих пор боится стука. Кстати, вы, наверное, не ужинали, у меня сосиски — две вам, две мне.

Из письменного стола он вытащил тарелки, горчицу и полбуханки хлеба.

— Хлеб чёрствый, — извинился он, — меня здесь два дня не было. Почему вы заранее не дали о себе знать?

— Не хотел. Вы бы наверняка принесли хвою и пригласили школьный хор, чтобы он исполнил заздравную песню в честь ревизора.

— Значит, сюрприз? — понимающе спросил Кунц.

— Сюрприз, — согласился я, а сок из сосисок тёк по пальцам.

После ужина мы пили чай.

— Куда я вас положу? — задумался управляющий. — Здесь всего одна постель, как видите, а силой втолкнуть вас к Жачеку я не могу. Знаете что? Внизу, на первом этаже, есть одна уютная комнатка, обставленная напоказ. Там стоит кушеточка в стиле ампир, так если вы не очень тяжёлый...

Он открыл шкаф и дал мне три мохнатых одеяла.

— Пододеяльников у меня, к сожалению, нет, только на моей постели, остальные в стирке. Так что придётся вам довольствоваться тем, что есть. Уборная внизу во дворе, вода тоже там. Утром вам Жачкова согреет воду побриться, я скажу ей, чтобы она поставила на двоих.

Кунц зажёл большую керосиновую лампу под потолком и взял из угла фонарь.

Мы пошли по коридору и остановились у одной из дверей. Кунц отпер дверь. В комнате блестел паркет и стояла какая-то мебель. На хрупкой кушетке казённые одеяла казались чуть ли не святотатством.

— Да, а что я вам дам под голову?

Он осветил фонарём всю эту роскошь, а потом швырнул мне подушку, которая лежала в кресле.

— Спокойной ночи. Если вам ночью нужно будет выйти, возьмите фонарь. А то не дай бог разбудите Жачека, и он своим лаем перебаламутит всю деревню.

И скрылся за дверь. Он произвёл на меня самое благоприятное впечатление — добродушный и весёлый. Наверняка он принадлежал к людям, которые ни над чем не ломают голову. Только одно было неясно. Кунц отсутствовал два дня. Ключи есть только у него. Так как же в фарфоровую вазу на его письменном столе попал букет цветов? Цветы были свежие. Он их принести не мог, потому что несколько лепестков лежало на столе. И ещё одно — для кого он собирался сварить ещё две сосиски? Ведь не мог же он рассчитывать на моё возвращение. Сообразив, что сосиски были предназначены для кого-то другого, я уснул.

IV

По всем правилам игры в первую ночь должно было произойти что-нибудь драматическое. Кто-нибудь должен был зазвенеть цепями, в комнате должна была появиться странная фигура, душераздирающий вопль или стон должен был нарушить тишину, а утром потрясённое население обнаружил бы на воротах замка моё удостоверение личности, проткнутое окровавленным кинжалом. Но ничего не произошло. Всё-таки жизнь — ужасная проза.

Кушетка была удобная, правда, немного коротковата. Кунц долго не мог разбудить меня и, наконец, пощекотал мои пятки. Ужасно противное ощущение.

— Не сердитесь, но кофе уже кипит и вода для бритья согрелась.

Я побрился внизу, на срубовом колодце. Жачек, видно, был чем-то занят, потому что не потребовал платы за воду. Потом Кунц позвал меня в башню и налил мне кофе, а из стола вытащил бутылку с ромом.

— Хотите, я вам добавлю в кофе?

Я хотел. Потом мы закурили.

— Могу предложить вам ещё кексы. Я по утрам ничего не ем, только часов в десять перекусываю. На обед будет гу-

ляш из говядины или из конины, если вас это не смущает. То и другое в собственном соку и в жестяной банке.

— Да мне неловко вас объедать, я спущусь в деревню.

— Пустяки, — сказал Кунц. — Незачем вам туда ходить самому. Старуха каждый день ходит за покупками. Дайте ей денег и скажите, чего вам хочется. Но обедать всё равно будете со мной. Мне одному с этими консервами не справиться.

Мы порешили на гуляше из конины. Большинство людей не любит конину, но я их неприязни не разделяю. Я с детства люблю лошадей: у них очень умный взгляд.

Я ждал, не нальёт ли Кунц себе вторую чашку кофе, сдобренного ромом. Он не налил. Мне предложил, но себе не налил. Жаль. С людьми, которые с удовольствием разопьют бутылочку, всегда легче разговориться. Кунц не спешил на крыши и в склепы и беседовал со мной, как со своим личным гостем. Я ничего против этого не имел. Это было как раз то, что нужно.

— Не скучаете здесь? — нащупывал я почву.

Он почесал светлые волосы.

— Знаете, не очень. В субботу и в воскресенье здесь шляются экскурсанты, я заговариваю им зубы и слежу за тем, чтобы никто не украл чучело дикой свиньи и чтобы какой-нибудь мальчик не свалился в колодец, высеченный в скале. Глубина его восемнадцать с половиной метров. На неделе я должен съездить в Будейовицы в управление. А вообще здесь спокойно. Правда, по вечерам иногда тоскливо, но зато святой покой...

— На отшельника вы не похожи.

— Ради вас прилеплю себе усы из кудели. Вообще-то я здесь недавно. Раньше управляющим был старик Жачек. Этот удивительно практичный человек стал собирать по две кроны с посетителя, как дополнительную плату за освещение при осмотре подземных тюрем. Потом порол он всякую чепуху, старуха его убирала здесь кое-как. Вот и прислали меня. Но на открытки и на пиво у них по-прежнему монополия. Я им оставил. На черта мне это.

— И сколько вам за всё это платят? — спросил я.

— Шестьсот.

— Чёрт возьми! И вам хватает?

— Угу. Да, кстати, надеюсь, что вы не скучали ночью без привидений. Видите ли, у нас их нет. Так что я время от времени выдумываю для экскурсантов каких-нибудь чудовищ, пусть забавляются.

Ясно, что Кунц увиливал. Что ж, в конце концов некоторые люди не любят о себе говорить. Я лично в этом ничего плохого не вижу.

— Я не настаиваю, но если хотите посмотреть замок до обеда, так пойдёте, — сказал он и взял ключи. — Можем начать снизу. Замок был основан в четырнадцатом веке и служил для охраны границ, — начал Кунц, — с тех пор сохранились остатки первоначального укрепления и круглая башня в фасаде главного здания. Остальное было достроено позднее, главным образом в пятнадцатом веке. Потом, во время гуситских войн, замок сгорел. Правда, сражения здесь не было, но его подожгли отступающие королевские части. В последующие столетия замок пустовал, тогда-то и разрушилось внешнее укрепление с висячим мостом и валом, которое возвышалось над окрестностями как символ феодального господства, основанного на...

— Пощадите. Я же не школьная экскурсия.

— Ну ладно. Потом, в шестнадцатом веке, замок реставрировали по мере возможности. Тогда же построили вторую башню и хозяйственные флигеля. Укрепление уже не восстанавливали, с начала восемнадцатого столетия до тысяча девятьсот двадцать третьего года замок снова пустовал. Потом его кое-как подремонтировали. Всю эту мебель сюда привезли года два назад, чтобы было на что смотреть. Здесь, внизу, было помещение для стражи, а здесь, — он открыл другие двери, — канцелярии, а вот по этой лестнице спускаются в подвал, но у нас нет с собой фонаря.

— Должен я доплачивать две кроны за освещение?

— Нет, но необходимо надеть резиновые сапоги, потому что я вам должен всё показать. Нужно бы как следует укрепить своды, потому что в один прекрасный день туда провалится берлога Жачека.

Мы поднялись на первый этаж. В охотничью комнату. Там была противная дикая свинья. Чучело. В следующей комнате — ампирный салон.

— Здесь вы спали. Узнаёте? Если вы когда-нибудь прославитесь, мы назовём этот салон вашим именем и, показывая его, будем рассказывать вашу биографию.

Оставались ещё две двери.

— В следующей комнате, — продолжал Кунц, — лежит разный хлам, а в эту комнату мы никого не водим, потому что...

Дверь открылась, и из комнаты, в которую никого не водят, вышла очень красивая рыжеватая дама лет тридцати с небольшим. Она внезапно приостановилась, но потом, как бы передумав, направилась к нам.

— ...потому что там реставрируется картинная галерея, — закончил Кунц и показал на меня: — Это товарищ Блажинка из министерства культуры.

— Ландова, — представилась рыжая и протянула мне руку. Вероятно, она не очень обрадовалась, встретив здесь постороннего, но виду не подала. Я понял, что эта женщина умеет владеть собой. Есть женщины, которые отдают себе отчёт во всех своих действиях, они всегда хорошо знают, что именно делают и зачем. И так во всём: в выборе материала на платье и в выборе мужчины. Я таких женщин уважаю, хотя многие из них законченные эгоистки. Всё-таки это лучше, чем какая-нибудь ужасно сердобольная Амалия, которая ходит хихикать на карусель. Человек по крайней мере знает, с кем имеет дело. Правда, всегда в присутствии подобной особы я нехотая вспоминаю, что у меня грязные ногти или что я уже давно не был у парикмахера.

Ситуация требовала разъяснений. Ципрбуржский управляющий звякал ключами и собирался с силами.

— Дело в том, — проямлил он, — я вам об этом не говорил, потому что об этом не вспомнил, в общем пани Ландова занимается здесь реставрацией нашей галереи. К нашему персоналу, то есть к нашему постоянному персоналу, она не принадлежит, работает она по договору как реставратор.

Направил её сюда доктор Вегрихт, в этой комнате она иногда ночует. А вообще-то живёт в Будейовицах большей частью.

— Большой частью до Будейовиц слишком далеко, — заметила женщина. — Если бы мне пришлось каждый день по три часа тратить на дорогу туда и обратно, я бы мало что успела сделать. Как только начинает темнеть, работать уже нельзя. Поэтому я ночую здесь. Доктор Вегрихт мне разрешил, но забыл о том, что пан Кунц довольно часто уезжает. Поэтому пан Кунц дал мне вторые ключи, другого выхода нет. Только доктор Вегрихт об этом не знает. Дело в том, что он весьма щепетильный человек, так что при встрече не забудьте напомнить ему об этом. — Она улыбнулась.

Что делать, я тоже улыбнулся.

— Честно говоря, мне до ключей нет никакого дела. Я техник-строитель и интересуюсь только своим участком. Шпионить для доктора Вегрихта не собираюсь. Вообще его не знаю. Вам этого достаточно?

— Ну, вы его ещё узнаете, — сказала пани Ландова и приподняла левую бровь. — У него шляпа со щёткой.

— Шёл лесник за тёлочкой в шляпе со щёткой, — не к месту пропел Кунц. Видно, у него отлегло от сердца. — Вегрихт человек порядочный, но ужасный педант. Понимаете, старая школа. А у меня из-за этой мелочи могли бы быть неприятности.

Я постарался заверить их, что не собираюсь никому доставлять неприятностей, что я не людоед и т. п.

Пани Ландова усмехнулась.

— В самом деле? Слава богу, — и для разнообразия подняла правую бровь.

Её игра бровями начинала мне надоедать, хоть в общем-то это было не так уж и плохо.

— Если вы не возражаете, я загляну в подвал.

Кунц посмотрел на часы. Я тоже посмотрел на часы, на его часы. Это были не те часы.

— Тогда бы нам пришлось слишком поздно обедать. Бабка уже вернулась с покупками. Можно подогреть. Будете с нами обедать? — обратился он к пани Ландовой.

Рыжеватая красавица стала отказываться, уверяя нас, что ей нужно ещё до обеда поработать, но мне хотелось, чтобы все были на виду.

— Ведь есть-то всё равно нужно, — сказал я бодро. — Иначе я буду думать, что вы игнорируете представителя центрального учреждения.

— Представителей центральных учреждений мы не игнорируем, а взираем на них с безграничным уважением и изумлением, — прозвучал ответ, сопровождаемый гимнастической бровей.

— Словом, прошу всех к столу, — закончил прения Кунц и, разбежавшись, как мальчишка, заскользил по плитам к лестнице.

Наверху он переложил конину из банки в кастрюлю и стал разыскивать разные приправы.

— Знаете, лучше я сама, — недоверчиво сказала пани Ландова. — С вами-то ничего не случится, а я всего-навсего слабая женщина.

Пока они возились с гуляшом, я смотрел в окно. Окно, само собой, было стеклянным. И в стекле распахнутой рамы я видел, как пани Ландова, склонившись над кастрюлей, прижалась к Кунцу и весьма недвусмысленно посмотрела на него.

Всё было ясно. Кунц — красивый парень. Вчера он сам говорил, что по вечерам здесь тоска. Уж такова жизнь, и, как говорит мой Старик, если у кого-то никого нет, это подозрительно.

Судя по этому, подозрительных личностей в замке не было. И я твёрдо решил, что завтра уеду. Всё равно ничего другого не оставалось. Ясно, что, если здесь что-то и творилось, всё равно никто мне об этом не доложит. Спрятать контрабанду в замке можно где угодно, не говоря уж о том, что такой молодой и неглупый человек, как Кунц, не станет сидеть в этой дыре за шестьсот крон. На это у него должны быть свои причины.

А что, если на деньги ему наплевать, просто он хочет жить, как ему вздумается, и не заботиться о завтрашнем дне? Правда часто бывает ужасно простой.

Наверное, Кунцу жилось в Ципрбурге неплохо, пусть с пани Ландовой. Не моё дело судить его за это. Да я бы и не отважился. Нечего осуждать других за то, что мы бы могли простить самим себе. Иногда полезно сделать для себя такой вывод.

Пока я размышлял, они сварили обед, кстати вкусный. Обстановка за столом была довольно приятная, хотя пани Ландова вела себя, как на приёме, и мы с Кунцем должны были волей-неволей к ней приспособливаться. Рыжая дама говорила очень литературно, как говорят учителя или идиоты. Я этим совсем не хочу оскорбить учителей. У них просто профессиональная болезнь. Что касается пани Ландовой, то она будто обнюхивала чужого пса, осторожно обходила его, не зная, чего от него ждать.

Когда эта церемония окончилась, я вытащил бутылочку коньяку. Я попросил пани Жачкову купить её в деревне. Во-первых, я хотел отплатить Кунцу за гостеприимство, во-вторых, признаюсь, я не терял надежды что-нибудь выудить. Коньяк был отличный. Видимо, изобретательная пани Жачкова не сумела отсосать половину через соломинку и долить водой. Я предложил согреться, прежде чем мы полезем в эти подвалы.

Я могу выпить много. Кунц тоже. Пани Ландова оправдала мои надежды. Она не пицала, что не умеет пить, и не отставала от нас.

Разговор стал интереснее. Пани Ландова сдалась и начала разговаривать человеческим языком. Кстати, язычок у неё был острый. Стоило только Кунцу заговорить об архитектуре замка, она сажала его в лужу.

Видимо, разбиралась в этих вещах лучше, чем он.

— Вы историк? — спросил я Кунца. Хотя мне было ясно, что нет.

— Нет, экономист. Шесть семестров.

— Вас выгнали?

— Сам ушёл. Надоело.

— Да и язык у вас слишком длинный, господин управляющий, — добавила пани Ландова.

— Знаешь, уж ты бы молчала, — огрызнулся Кунц, — то есть пардон.

— То есть, — подхватила его подруга, — если вас это не шокирует, мы с Вашеком на «ты». Как-то неловко было сразу проинформировать вас об этом. Но когда мы вечерами торчим здесь вдвоём, не станет же он мне говорить: «Целую вашу ручку, сударыня».

Я согласился. Люди, которые находятся в так называемых интимных отношениях, говорят на «вы» только в плохих переводах с английского. Я заявил, что говорить на «вы» — пережиток.

— Если хотите, переходите на «ты», — сказала пани Ландова.

— С вами?

— Нет, не со мной, а с Вашеком. Мне, пожалуйста, говорите «вы», но называйте меня Вера. Когда вы говорите мне «пани Ландова», мне всё время кажется, что вы попросите меня вымыть окна в вашей квартире.

Обстановка стала ещё более непринуждённой. Кунц уже был под хмельком и разрабатывал проект перестройки Ципрбурга с танцплощадкой в круглой башне. В эту минуту я услышал шум мотора и подошёл к окну. Внизу остановилась зелёная машина и пани Жачкова побежала открывать ворота.

— Кто-то приехал. Зелёная машина, а из неё вылезает мужчина.

— Чёрт возьми! — испугался Кунц. — Это доктор Вегрихт!

Пока они с пани Ландовой приводили в порядок комнату, прятали рюмки, бутылку, я смотрел в окно на вновь прибывшего, который после короткого разговора с пани Жачковой направился к зданию.

— В шляпе со щёткой, — заметил я.

Кунц вытащил из шкафа какой-то план, я достал карандаш, и мы с сосредоточенными лицами склонились над столом. Наша дама, которой, очевидно, опасность не угрожала, сидела в кресле и курила. Через минуту послышался стук. Кунц хрипло крикнул: «Войдите!» На пороге появился док-

тор Вегрихт. В одной руке он держал шляпу со щёткой, а другой судорожно прижимал к себе жёлтую папку.

V

Первое впечатление: безупречный управляющий из хорошего дома. Я таких видел только в кино, потому что сейчас им приходится туго, но это был выставочный экземпляр. Кроме уже упомянутой шляпы, на нём был зелёный камзол с розовыми пуговицами, начищенные до блеска коричневые ботинки и заботливо отглаженные серые габардиновые брючки. Под камзолом белоснежная рубашка, действительно белоснежная, а не такая, что была белоснежной позавчера, и тёмно-коричневый галстук. Я не художник-модельер и обычно так не присматриваюсь к одежде, но у этого человека костюм явно бросался в глаза. Только взглядевшись повнимательнее, я обнаружил, что усы и волосы у него седые.

Он продвинулся ко мне. Нет, он не подошёл, а именно продвинулся, полагая, что продвигается навстречу представителю ревизирующей организации. Я подождал, но начнёт ли он докладывать. Нет, докладывать он не стал. Представился и поздоровался:

— Честь труду!

Пусть так. Правда, глядя на него, нельзя было подумать, что он дома в ванной распевает «Красное знамя». Потом управляющий сказал: «Разрешите» — и поздоровался с Ландовой и с Кунцем так же, как и со мной. Кунц только что-то промямлил, чтобы скрыть запах коньяка. Оба по сравнению с милым доктором находились в более выгодном положении, потому что уже не боялись меня.

— Я узнал внизу, что у нас здесь ревизия, — с достоинством сказал доктор. — Заехал я сюда совершенно случайно. Я часто объезжаю вверенные мне объекты, но товарищ Кунц обязан был по телефону немедленно сообщить мне о вашем прибытии.

Он бросил грозный взгляд на своего подчинённого, последний был явно не в форме. Дело в том, что Кунц всё время старался дышать в сторону.

Я не мог оставить его в беде.

— Товарищ Кунц собирался позвонить вам, но я его отговорил. Моё задание носит чисто технический характер, а товарищ Кунц буквально во всём мне помог. Как раз сейчас, прежде чем показать подвалы и крыши, он знакомил меня с планами.

— Пока всё было в порядке? — заботливо справился доктор.

— В полном порядке, — успокоил я его и добавил: — Насколько это возможно в таком старом здании.

Управляющий немного успокоился, но всё же счёл нужным отметить, что он сам регулярно следит за техническим состоянием зданий, хотя это и не является его непосредственной обязанностью. И немедленно информирует соответствующие инстанции о необходимости проведения того или иного ремонта, хотя, учитывая недостаточность финансовых средств...

Безо всякого злого умысла я сказал:

— Конечно, конечно.

Он вдруг очень испугался, не сказал ли чего лишнего, и добавил, что, конечно, нужно сознавать, что все культурные учреждения, и главным образом исторические памятники, являются только надстройкой и средства, предназначенные для этих целей, вообще-то сравнительно высокие.

Я кивнул и серьёзно сказал:

— И наоборот, не правда ли?

Этим я совершенно сбил его с толку, он запутался в своих периодах и умолк. Это «наоборот» — испытанный метод, попробуйте когда-нибудь сами. Самая красивая фраза поплёкнет, и вас оставят в покое. Только говорить нужно смертельно серьёзно, чтобы подействовало.

И хотя бургграф был нокаутирован, я всё-таки боялся, что ему через минуту снова придёт в голову что-нибудь чересчур конструктивное, и поэтому я предложил Кунцу осмотреть подвалы. Пани Ландова удалилась в свою галерею. Доктор Вегрихт проводил меня и Кунца до входа в подвал. Дальше идти он не мог, потому что было только две пары резиновых сапог. Но подай я хоть самый ничтожный повод, он бы самоотверженно ринулся вперёд, претерпевая душевные

муки, ибо его брючки определённо должны были пострадать от этой экскурсии.

Внизу было темно и сыро. Своды действительно оставляли желать лучшего, с них капало. Я молчал, чтобы вода не попадала мне в рот. Кунц тоже молчал. Когда мы дошли до конца, Кунц осветил фонарём стену и сказал:

— Там дальше склеп, а в нём предки. Нас от него отделяет стена. Вход туда был из башни.

Так всё-таки склеп!

— А можно туда попасть?

Кунц покачал головой.

— Не-е, с той стороны вход тоже замурован. Там всё это сгнило и вонь ужасная.

На обратном пути перед нами мелькнуло что-то мокрое и лохматое. Ощущение было не из приятных.

— Что тут крысы жрут?

— Предков, — лаконично ответил Кунц.

Когда мы выбрались в более благоприятные условия, я взял его за локоть.

— Скажи своему доктору, чтобы он отвёз меня в Будейовицы. Хоть избавитесь от него.

Кунц посмотрел на меня влажными глазами. То ли от избытка благодарности, то ли от коньяка. Скорее от того и от другого.

— О боже, избавь нас от чумы, града и педантов. Нравится тебе доктор?

— Очень. Если бы его увидел свиной король из Чикаго, наверняка отвёз бы его в свой поросячий замок во Флориде. Что он делал раньше?

— Преподавал в гимназии историю.

Это меня удивило. Я думал, что управляющий бывший юрист. Но по виду, правда, почти никогда нельзя определить профессию.

Доктор Вегрихт с нетерпением ждал нашего возвращения, чтобы узнать, в порядке ли подвалы. Я заверил его, но что-то ещё не давало ему покоя.

— Видите ли, я прошу прощения, товарищ, не имею чести знать вас лично. Будьте любезны, предъявите ваше удостоверение.

Я подал ему бумагу. Он попросил у меня паспорт и сравнил документы. Мне казалось, что он делает это не потому, что сомневается во мне, а скорее затем, чтобы его никто не мог упрекнуть в недостатке бдительности. Потом он с бесконечными извинениями вернул мне документы.

— Вы понимаете, ценные собрания могут привлечь нежелательное внимание...

Я не разделял его точки зрения. Вряд ли кто отважится воровать доспехи. Это неходовой товар. Но доктору было виднее. Я выразил свою благодарность за оказанный приём, пообещал прощупать в Праге почву относительно возможности проведения необходимого ремонта подвальных сводов. Крыши я не стал осматривать, потому что Кунц сказал, что они в хорошем состоянии, но что на чердаках летучие мыши. Доктор подтвердил это.

Вегрихт был очень польщён тем, что может отвезти меня в Будейовицы. Он извинился и сказал, что только зайдёт к пани Жачковой, чтобы уладить какие-то счета за уборку, потом приготовит машину и будет в моём распоряжении.

Я поднялся наверх за своими вещами. Кунц пошёл со мной и постучал в дверь галереи.

— Вера, инспектор уезжает!

Ландова вышла со мной проститься, и Кунц выразил надежду, что я скоро снова приеду. На лестнице он крикнул мне вслед:

— Ты забыл бутылку!

Я оставил её им. Пусть допивают на здоровье. Уже сидя в машине рядом с доктором Вегрихтом, я увидел, как Кунц и пани Ландова стояли у окна башни и махали мне. Я тоже им помахал.

Доктор сам водил машину. Для этой цели он имел коричневые перчатки из свиной кожи. Вёл машину он очень осторожно, приблизительно сорок километров в час. Я думал, что не выдержу. До Будейовиц мы ехали почти час.

— Только бы не опоздать на поезд, — беспокоился я.

Вегрихт посмотрел на часы и сказал, когда отходит поезд.

У меня оставалась уйма времени, если только часы доктора шли точно.

Я действительно успел. По дороге выслушал лекцию о замках вообще и о специфических проблемах южночешских замков в частности, с учётом того, какого исключительного расцвета достигли они под неусыпным надзором доктора Вегрихта. Я в этом и не сомневался. Гораздо больше меня интересовало другое. Об этом, правда, я не хотел его спрашивать. Мне было интересно, хорошо ли помогают ему в работе контрабандные часы, которые он носит на руке.

VI

Дома я ещё раз всё продумал. Не будь этих часов, которые я заметил в последнюю минуту, вся моя поездка в Ципрбург была бы совершенно напрасной. Эта запись на крышке, из-за которой я наугад только по совету Старика притащился сюда, сама по себе ничего не значила. И вот теперь намечалась какая-то нить, но в общем всё это было очень относительно. Несомненно, Ципрбург с его лабиринтами и туристами мог бы быть идеальным звеном во всей торговой цепочке, хоть это и выглядело довольно нереально. Однако нельзя исключать какие-то возможности лишь потому, что они неправдоподобны. Для преступника решающим фактором является целесообразность, а не, скажем, литературная правдоподобность. Ну, а, как я уже сказал, для целесообразности предпосылки были.

Прятать контрабандные часы мог кто угодно из людей, с которыми я там встретился. Жачек с женой, Кунц, пани Ландова, — может быть, оба — и, наконец, доктор Вегрихт, против которого свидетельствовало прямое вещественное доказательство. А может быть, и все вышеназванные вместе, но это уж было бы чересчур неосмотрительно, чтобы походить на правду. Не говоря уже о том, что доктор Вегрихт направил в Ципрбург Кунца, чего бы наверняка не сделал, если бы раньше был связан с Жачеком. Подозрение против доктора Вегрихта всё-таки оставалось весьма сомнительным. Малове-

роятно, что кто-нибудь станет выставлять напоказ явное доказательство своей преступной деятельности. Это всё равно, что человек, тайно торгующий оружием, разгуливал бы по Вацлавской площади, обвешенный с ног до головы пулемётными лентами.

Так как из фактов, которые имелись в моём распоряжении, выжать было больше нечего, я решил рассмотреть повнимательней каждого, кто мог быть замешан.

Во-первых, Жачек. Как говорит Кунц, это бывший жандарм. А бывшие жандармы не успели дослужить до желанной пенсии, поэтому Жачек наверняка не пылает любовью к новому строю. Но дело не в этом. С точки зрения элементарной честности жандармов отбирали строго. С другой стороны, служба у господ не проходит бесследно, и многие сбрасывали вместе с шинелью и свою порядочность. Особенно если разбались в законах и могли этим воспользоваться.

Не думаю, чтобы Жачек когда-нибудь судился, а другого материала о нём не разыщешь. Это просто старик обдира-ла, и баба его не лучше.

О других мне проще получить сведения. Но делать это нужно было осторожно. Во-первых, потому, что не стоило их тревожить. Трудно предвидеть, какие у них связи. А во-вторых, потому, что люди не умеют держать язык за зубами. Один скажет приятелю, приятель соседу, — дескать, им интересуются, и пошло... Нередко от таких слухов ни в чём не повинным людям приходилось туго.

Я решил кое-что разузнать завтра же и сладко заснул. Ничего нет лучше собственной постели.

Рано утром я был у Старика. Он плохо чувствовал себя, держался за живот и вздыхал. Он был очень похож на того пса из сказки, который сожрал торт. Без особого любопытства выслушал меня.

— Так. Сделай письменный отчёт, — говорит, — подшей его к делу. Вот рапорт из Вубенча, там кто-то продаёт электроплитки, которые не действуют. Сходи посмотри на них. И скажи секретарше — пусть мне принесёт лекарство.

Я был озадачен. Старик не настроен на продолжительную беседу, а ничего конкретного я не мог ему сказать. И всё-

таки мне казалось, что часы доктора Вегрихта были какой-то ниточкой. Мне не хотелось бросать это дело. Ну, разве докажешь что-нибудь человеку, если у него болит живот, пусть даже это вообще-то разумный человек.

Я вспомнил, что от отпуска у меня осталось ещё дней десять. Не то чтобы я был каким-то энтузиастом, но уж если меня что-нибудь заинтересует, я не люблю бросать начатое. Я сказал Старику про этот отпуск, и он мне подписал заявление, потому что возразить ему было нечего. Теперь всё было в порядке. Ципрбург — хорошее местечко, хотя обычно отпуск я провожу на реке. Ну, ничего.

Впрочем, вода там тоже была. В подвалах. И если бы я за всё это время ничего не выяснил, то мне по крайней мере не пришлось никому объяснять, что я действительно не превращаю свои командировки в загородные экскурсии.

Старик опять пустился в разговор о своём животе и просил лекарства, так что я поспешил с ним попрощаться.

В коридоре я встретил Вильду Бахтика.

— После обеда физическая подготовка, — сказал он.

Я ему говорю, что у меня отпуск.

— Ну, отпуск-то у тебя, наверное, с завтрашнего дня.

Я говорю, что нет, что уже сегодня, сейчас, в эту минуту, я нахожусь в отпуске. Вильда многозначительно хмыкнул.

Думаю, что ему до меня нет никакого дела, но он слишком заботливый. Однажды у меня было свидание в одном погребке. Но «она» почему-то долго не шла, и я сидел один с бутылкой вина и смотрел по сторонам. Вдруг в погребок влетает Бахтик. Увидел меня, не сказал ни слова и тут же выскочил. На другой день Старик вызвал меня к себе и стал расспрашивать о моей «неустроенной» жизни. Меня это задело. Старик же отлично знает, что на «неустроенную» жизнь у меня остаётся не слишком много времени. Я уверен, что он не сам до этого додумался.

Оформив отпуск, я начал собирать необходимые сведения. В деканате экономического факультета мне сказали, что Вацлав Кунц приблизительно год назад бросил учёбу по собственной инициативе. Выдающимся студентом он не был, но поводов для исключения тоже не давал. Правда, вряд ли он

мог рассчитывать на хорошее распределение, наверное, всё из-за того же «длинного языка». Из Праги он выписался полгода назад, раньше здесь жил у каких-то родственников. Его отец был высоким начальником в министерстве школ и умер во время войны. Мать умерла пять лет тому назад. Была это, очевидно, типичная «приличная» семья.

Вера Ландова была членом Союза художников, окончила художественную академию. Её квартира и ателье находились в районе Старого города, но в Праге она подолгу не жила. Часто выезжала реставрировать картины в провинцию. Один раз была организована выставка её работ. Я не поленился достать каталог. Насколько я разбираюсь, были это какие-то безобидные пейзажики.

Дальше. Она уже лет пять назад развелась с мужем. Её бывший муж — скульптор. Живёт в Брно. Дворничиха сообщила мне, что он ужасный пьяница. Я сказал ей, что я двоюродный брат из Евичка.

Доктор Яромир Вегрихт до 1946 года был преподавателем истории и географии в гимназии в Праге. Потом он перешёл в государственное управление по охране памятников. Постоянно он был прописан в Будейовицах. Как специалиста его очень ценили и уважали. Он даже написал какую-то книгу о южночешских замках.

Этим человеком я особенно интересовался. Поэтому зашёл к одному знакомому преподавателю, который когда-то обучал меня иностранным языкам. Я надеялся узнать от него что-нибудь неофициальное о деятельности доктора Вегрихта в прошлом. Во всех учительских сплетничают за милую душу.

Старый господин очень обрадовался, увидев меня, потому что подыхал от скуки. Он налил мне чаю и спросил, чем я занимаюсь. Я сказал, что занимаюсь экспортом, не сразу же выкладывать людям, кто ты и что ты. А он мне на это сказал, что знание языков никогда не повредит.

Действительно, это не лишнее. Потом человек может ругаться на трёх языках, если у него что-нибудь не клеится. Я выслушал его рассказ о неряшливой невестке и перевёл разговор на другую тему. Пришлось сказать, что я познакомился в поезде с неким доктором Вегрихтом.

— Вегрихт, — удивился старик, — этот коллаборационист!

И пошло. Я узнал, что милый доктор прославился тем, что незадолго до окончания войны прочёл лекцию об арийской расе в истории. В результате после революции его начали беспокоить, и Вегрихту пришлось уйти из гимназии.

Вот тебе и на!

Ну, это было почти всё, что нужно. Я собрал чемоданчик и на другой день отправился в путь. Поехал я к обеду.

С утра выяснял, какие возможности существуют для проведения ремонта сводов в подвалах замков. Если бы я в Ципрбурге начал молоть какую-нибудь чушь, то можно было провалиться. Это бы напомнило тот случай из потрёпанного детектива, когда у сыщика отклеились усы.

VII

В Будейовицах я запасаюсь продовольствием, чтобы не быть никому в тягость. Конину я не покупал. В Ципрбурге её было больше чем достаточно. Вполне понятно. На шестьсот крон не разживёшься, во всяком случае, на оленину не хватит.

На холм я еле полз — стояла жара, и я был навьючен, как верблюд.

Кунц лежал перед воротами в траве, заложив руки под голову. Рядом сидела пани Ландова и что-то рисовала в альбоме. Они курили одну сигарету. Меня приветствовали диким рёвом, то есть взревел Кунц. Его подруга была слишком сдержанной для этого. Когда все радостные излияния окончились, я объяснил им, что должен был поторопиться. Проект следует сдать до конца года, чтобы вовремя составить смету.

Они потащили меня наверх, и я набил шкаф Кунца своими запасами. Заодно осмотрел его содержимое. Ничего подозрительного там, конечно, не было. Потом я спустился вниз умыться. Жачек как раз доставал воду из колодца и спросил приветливо:

— Вы уже снова здесь?

Мне удалось завязать с ним разговор. Он сразу подобрел, когда я достал сигарету.

— Ведь вы раньше были жандармом? — спросил я бес-
тактно.

Жачек вытаращил глаза.

— Ага. В годы масариковского террора.

Ну ладно. Если нужно выбирать из двух людей, кото-
рым почему-либо не по душе наш строй, я скорее выберу
свирепого Жачека, который хотя ни с чем не согласен, но и не
притворяется, чем такого вот доктора Вегрихта, который, ве-
роятно, вынужден был быть лояльным при всех режимах. Я
не думаю, что небеса содрогнутся, если некоторые люди,
имеющие так называемое особое мнение, выскажут его вслух.
Поступки — это уже другое дело. Тут уже не до шуток, по-
тому что некоторые поступки нельзя оставлять безнаказан-
ными.

Я ничего не сказал, а Жачек ушёл в свой домик с паль-
мовой ветвью и с ведром в руках. Или он действительно не
боялся, или ему нечего было бояться. А может быть, Кунц
уже заверил его, что я безвредный техник-строитель.

Ночевал я снова на той же кушеточке в ампирном са-
лоне. Спал хорошо, и два следующих дня тоже прожил безза-
ботно. Если бы меня сюда направили официально, я бы му-
чился угрызениями совести из-за безделья. Иногда для виду
осматривал свод и делал какие-то заметки, но чаще валялся
на траве и разговаривал с Кунцем и пани Ландовой о всевоз-
можных вещах... Отдых был чудесный.

Рыскать по замку не имело смысла. Часы, если они во-
обще здесь находились, наверняка были хорошо припрятаны.
Решающие дни — суббота и воскресенье. А пока я выжидал.
Днём валялся в траве, а вечером играл в карты.

В субботу после обеда появились первые туристы, хотя
Кунц говорил, что основная масса народу бывает по воскре-
сеньям. Не знаю, замечали ли вы, что все посетители старин-
ных замков и музеев на один лад. Главным образом это де-
вушки, которые к старости становятся ужасно любознатель-
ными, ходят с толстыми туристскими палками и страшно ин-
тересуются, как именно попадала горячая смола на головы
осаждающих. Потом — это многодетные семьи: «Типичен, не
ковыряй в носике и слушай хорошенько, о чём рассказывает

пан». И, наконец, случайные посетители, которые приходят позабавиться. Забавного было много, Кунц без удержу фантазировал, и все оставались довольны, даже Жачек, продававший открытки, пиво и наклейки на палки.



Я таскался с каждой экскурсией в надежде заметить что-нибудь подозрительное. Посетители сначала поглядывали на меня, а потом утратили интерес к моей особе, потому что гид не упомянул обо мне в своём вступительном слове. Так я два раза совершил обход, и всё ничего. Я думал, что контрабанду, если здесь вообще есть такая, передают из рук в руки, когда продают билеты (это делал Кунц), или при покупке напитков, или, наконец, последняя возможность — это спрятать её в какой-нибудь ящичек, откуда связной сможет в удобный момент забрать её. Первые две возможности отпали, я очень внимательно следил за руками. А в надежде на третий вариант, как пёс, таскался за всеми туристами. И ничего.

Туристы разъезжались. Начинало темнеть. Осталось воскресенье и неприятная неуверенность, что в это воскресенье должно что-то произойти, если вообще здесь что-то могло произойти. За Жачеком и Кунцем я опять мог следить, но слежка за туристами могла привлечь внимание к моей особе. Если часы где-то спрятаны, то скорее всего там, куда заходят экскурсанты. Одинокий посетитель, шныряющий по помещениям, в которые нельзя входить, вызвал бы подозрение. Но совсем нетрудно немного отстать, взять что нужно и присоединиться к остальным как ни в чём не бывало. Я решил утром, до прибытия туристов, просмотреть по мере возможности все подходящие места. Тот, кто будет прятать контрабанду, скорей всего сделает это ночью, но было бы глупо всю ночь следить за каждым обитателем замка.

Сразу после завтрака я начал обыск комнаты, в которой спал. Здесь я мог всё осмотреть довольно подробно, мне никто не мешал. Но все ящики были пусты, шкафчик закрыт, а к мебели никто не мог приблизиться, потому что пространство для посетителей было ограничено шнурами. В галерею никого не пускали, в полупустой охотничьей комнате я тоже ничего не нашёл. Комнату с доспехами решил осмотреть последней, потому что мне не хотелось звенеть латами. Вряд ли контрабанду прятали в доступной части подвала. Правда, это было бы идеальное место, но для часов там слишком сыро. А потом туда ходили с фонарями, так что если бы кто-нибудь и

задержался, тут же нашлась бы добрая душа, которая не преминула бы заметить: «Там ещё один человек остался!»

Оставались комнаты внизу — комната для стражи и бывшая канцелярия. Я заглядывал под шкафы, за двери, за окна, лазил повсюду, где только можно было хоть что-нибудь спрятать. Я уже думал, что ничего не найду, и смирился с этой мыслью, потому что вся моя затея была вообще сомнительной.

Но мне случайно повезло. В караульном помещении, около дверей, под стойкой для ружей, что-то лежало.

Это была сумка из твёрдой чёрной кожи величиной с небольшую папку. Такие сумки раньше носили инкассаторы. Сумка свободно открывалась — от таких старых сумок редко сохраняются ключи. Я открыл её.

Часы! Они лежали в ней, как яички в гнёздышке. Без ремешков, завёрнутые отдельно в тонкую бумагу, чтобы не поцарапались друг о друга. Не знаю, сколько их было, но было много. Вот что называется счастье.

Я закрыл сумку и сунул её обратно. Теперь только оставалось проследить, кто за ней придёт. Таким образом, отпал караул около пива, билетов и открыток. Достаточно было следить за посетителями. Сумка уж не настолько маленькая, чтобы её сунули в карман. Ну, а если кто-то сунет её в папку или под пальто, я должен это заметить. Ну, а если и не замечу, то после ухода каждой группы туристов смогу проверить, на месте ли сумка. Далеко её не унесли бы.

Правда, это не самый удачный вариант, потому что важно выследить не только того, кто унесёт сумку, но и того, кто её туда положил. Потом нужно установить их связи с контрабандистами и перекупщиками. Судя по всему, Ципрбург был центральным звеном этой цепи, местом, где эти часы хранились. Отсюда их уносил один или несколько связанных.

Жаль, я не знал, когда сюда положили эту сумку. Что, если уже позавчера? Тогда можно было бы предположить, что её положил доктор Вегрихт, пока мы с Кунцем осматривали подвалы. К тому же Вегрихт хорошо знает, в какие дни Жачкова убирает. Конечно, сумку положить и совершен-

но посторонний человек. Но одно ясно, что сумка лежит здесь недавно, потому что пыли на ней не было.

Дальше. Совершенно непонятно, какую роль во всём этом играл человек, которого вытащили из реки, хотя так далеко я ещё не заглядывал. Он мог быть одним из перекупщиков или одним из контрабандистов. Может быть, что его «убрали» соучастники, потому что у него не было с собой ни денег, ни документов. Но, с другой стороны, почему они не вынули у него из карманов часы, которые в данном случае должны были навести на след преступника?

На размышления о том, как и кто попал в реку, времени хватило. Но вот прибыли первые туристы. Групповая экскурсия.

Я сел на свою тумбу во дворе и следил за каждым. Делал я это скорее от усердия, потому что соучастником мог быть любой из них. И старик в зелёных очках, и толстая дама с сумкой, и влюблённая парочка. По внешности человека ни о чём судить нельзя. Теперь уже преступники не облачаются в чёрные плащи и не бросают исподлобья грозных взглядов. Когда я перешёл на эту работу, старик Жирардо сразу сказал мне:

— Так слушайте, молодой человек, — тогда он ещё говорил мне «вы», — если вам что-нибудь неясно, так спросите. А спрашивайте как можно чаще, потому что вы ещё ничего не знаете. Но одно запомните с самого начала: если увидите мерзавца с усиками, с перекошенным лицом, так не обращайтесь на него внимания, потому что это наверняка продавец из магазина готового платья и самое страшное преступление, на которое он отважится, это шельмовать в карты.

Когда началась экскурсия, я остановился на лестнице у входа в подвал, около дверей помещения для стражи и начал старательно измерять косяк. Но никто не вышел, никто не вынес сумку. Прошло семь экскурсий, я заплесневел от сырости. После ухода каждой группы я смотрел, на месте ли сумка. Никто её не трогал. Когда ушла последняя группа туристов, я с отчаяния решил убедиться, есть ли в ней что-нибудь.

Часы были на месте. Жачек уже закрывал калитку на цепь. Наступил вечер.

Вот тебе и на! Теперь надо было ночевать на этой лестнице или умереть, положив руки на сумку, как лев.

Не идти ужинать я не мог. На это сразу обратили бы внимание. Кунц и пани Ландова ужинали вместе со мной, так что они не могли пойти за сумкой. Я каждые пять минут подходил к окну и смотрел во двор, что делают Жачковы в своём домике. У них горел свет. Очевидно, они тоже ужинали.

Я боялся, что мне нелегко будет отвертеться от карт, но меня выручила пани Ландова. Она сказала, что неважно себя чувствует, и направилась в свою галерею, где она официально ночевала.

Я, извинившись, вышел вслед за ней, и видел, как на первом этаже она свернула. Тут же хлопнули двери галереи. Я тоже стукнул своей дверью, спустился вниз и уселся на лестнице, ведущей в подвал, с твёрдым намерением провести здесь ночь. Было совсем темно. Я сидел около часу. Брюки у меня промокли, и хотелось курить. Вдруг я услышал шаги.

Кто-то шёл очень осторожно, но здесь отдавался каждый звук. Я видел человека, но не мог его узнать. Потом услышал, как кто-то открывает двери помещения для стражи. Я пополз наверх до площадки и спрятался за выступ. Через минуту я услышал, как двери закрываются. Человек прошёл мимо меня. Он был без шапки. Такую лысину не встретишь на каждом шагу.

Это был Жачек.

VIII

Раз-раз, он выбежал во двор и скрылся в своём домике, а я тоже раз-раз, выбрался из подвала — и в караульное помещение.

Я пошарил под подставкой. Сумка лежала на месте. Я вытащил её и открыл.

Часы лежали в сумке, никто их не тронул.

Нет, так и с ума можно было сойти. Мне уж казалось, что я сейчас схвачу эту сумку и пойду донесу на самого себя, чтобы только всё это кончилось. Но потом понял, что даже не могу назвать соучастников и поэтому у меня не будет смягчающих вину обстоятельств. Ясно, что Жачек знает об этой

сумке, иначе что он делал ночью в караульном помещении? Может, он вообще хранил её там и ходил время от времени проверять, на месте ли она, как чёрный пёс, стерегущий клад. Словом, это была хорошая головоломка.

Так всегда бывает, если человек подумает: «Наверное, теперь всё пойдёт как по маслу». От такого «масла» могло начаться расстройство желудка. Было совершенно бесполезно торчать тут. Все нормальные существа по ночам спят. Исключения составляют филины, волкодавы и некоторые интеллигенты.

Я положил сумку на место и пошёл наверх. Тьма была хоть глаза выколи. Фонарика у меня с собой не было. Нормальный фонарик каждую минуту может погаснуть, поэтому я вожу с собой такой с моторчиком, на него нажимаешь, а он жужжит. Я был уверен, что, пробираясь ночью по Ципрбургу, разумнее не жужжать, поэтому передвигался в темноте, отыскивая дорогу на ощупь.

Пока я поднимался вверх по лестнице, всё было тихо. Но приблизительно в середине коридора висели рога князя Коллоредра, а я про них забыл. Я слегка задел их лбом, рядом висела какая-то металлическая кастрюля, которую рыцари надевали на голову. Она покачнулась и упала. Раздался звон, и шлем ещё раз два подпрыгнул, как мяч, на каменном полу. Я прижался к стене в надежде, что никто не услышит.

Но не тут-то было. Во дворе распахнулись двери. Жачек заорал: «Стойте! Кто идёт?» — и помчался наверх с топором, из башни по лестнице летел Кунц в пижаме, храбро сжимая в руке парадную пику с кисточкой. Зрелище было потрясающее.

Конечно, я мог сказать, что шёл в темноте в уборную и заблудился, но, к сожалению, эта простая мысль не пришла мне в голову, и я ринулся в первые попавшиеся двери.

Эту комнату я видел впервые. У стен стояли картины, посередине был стол с разной посудой, рядом — мольберт, а на нём что-то закрытое тряпкой. На столе горели четыре свечи. Между столом и мною стояла Вера Ландова.

В руке она держала пистолет и целилась мне в живот.

— Господи, — взмолился я, — уберите его.



Я ужасно пугаюсь огнестрельного оружия, пока не уверюсь, что владелец его умеет с ним обращаться.

— Отойдите к окну, — сказала пани Ландова, — и не трещите.

Потом она спрятала пистолет в карман халата и вышла в коридор, где Кунц с Жачеком переключались, как тирольцы. Я слышал, как она уговаривала их не поднимать суматоху.

— Наверняка это свалилось само, — сказала она.

Тогда Кунц выругал Жачека за то, что он за время своего управления даже шлемы как следует не повесил. Разумеется, Жачек ответил ему довольно грубо. Они обругали друг друга и разошлись. Я слышал, как Кунц остервенело стучит пикой по ступенькам.

Пани Ландова вернулась, села на какой-то антикварный стульчик и с минуту молча смотрела на меня.

— Послушайте, приятель, — сказала она, — вы что, действительно настолько нахальны, что нарочно влезли сюда?

Я покачал головой. Она согласилась и продолжала:

— Тогда вам, наверное, не хотелось, чтобы вас кто-нибудь схватил, когда вы ночью шляетесь по зданию, да?

Я кивнул в знак того, что мне этого не хотелось. Очевидно, ей нравилось меня допрашивать. Кстати, при свете свечей она выглядела довольно живописно.

— Так думаю, что я бы вас не обрадовала, если бы позвала милицию.

Да, она действительно бы не обрадовала меня, и я этого не пытался скрывать от неё. Если бы явился местный участковый, который ничего обо мне не знает, меня или бы увели в наручниках, или я должен был при всех раскрыть своё инкогнито. И то и другое спутало бы мне все карты. Конечно, я ей об этом не сказал, ограничился только тем, что милиция для меня крайне нежелательна.

Она закинула ногу на ногу (кстати, ноги у неё были очень красивые), предложила мне сигарету и сама закурила. Потом совсем дружески взглянула на меня.

— Все эти ваши бумаги тоже, наверное, липовые?

Конечно, они были липовые. Но в мои планы не входило полное разоблачение, хотя представители министерства культуры не ползают в потёмках по коридорам и не влетают стремглав в первые попавшиеся двери только потому, что упал какой-то шлем или что-то в этом роде.

Ландова на секунду задумалась.

— Послушайте, — сказала она потом, — меня совершенно не интересует, чем вы занимаетесь. Каждый делает то,

что находит нужным. Я не собираюсь на вас доносить. Но не могли бы вы для меня кое-что сделать?

Она так очаровательно улыбнулась, что большинство мужчин сделало бы для неё всё, что угодно, и при других обстоятельствах, даже если бы им не угрожали револьвером.

— Видите ли, я здесь делаю копии с картин, — и она показала мне на мольберт. — Эти копии для меня очень важны, потому что я так усваиваю технику, но нельзя снимать копии с картин, находящихся во владении государства, без особого разрешения. Вы же знаете доктора Вегрихта. Он направит запросы десяти министрам, прежде чем на что-то решится. Я делаю копии без разрешения. Ничего преступного в этом нет, но делать это не полагается. Единственно, чего я от вас хочу, чтобы вы взяли копии с собой, когда поедете в Прагу. К этому времени я всё закончу. У вас есть всякие полномочия, так что о вас никто ничего не подумает. Больше я ничего от вас не хочу. В Праге я сама зайду за ними. Эти копии ни для кого другого никакой ценности не представляют, — добавила она осторожно, принимая во внимание мою потенциальную преступность. — Сделаете для меня это?

— Сделаю.

— Ей-богу?

— Ей-богу.

Она протянула мне руку.

— Так, — говорит, — а теперь идите спать. А то ещё кто-нибудь подумает, что вы посягаете на мою честь.

Последнее определённо не входило в мои намерения, и я ушёл.

Легко сказать — спать, когда в голове у вас такая путаница. Я ворочался с боку на бок, забыв о хрупкости кушеточки-экспоната. Кроме сумки с часами, у меня ещё прибавились загадки. Во-первых, есть ли у Веры Ландовой разрешение на оружие? Это нетрудно установить, но, думаю, что есть, иначе бы она не выставляла его напоказ. Во-вторых, странно, что она старается уберечь от неприятностей человека, в законности действий которого, мягко выражаясь, можно сомневаться, то есть меня.

Предположим, что ей действительно наплевать, черчу ли я планы ципрбуржских укреплений затем, чтобы потом выдать их врагу, или ещё что она там думала. Словом, это не делает ей чести. Или она не настолько безразлична, но собирается мною воспользоваться, потому что считает, что я у неё в руках. Очевидно, дама хорошо знала, что делает. Похоже на то, что она умела из каждой ситуации извлечь для себя выгоду.

Однако вряд ли она имеет какое-нибудь отношение к этим часам. Иначе сразу же сообразила бы, что мои ночные блуждания не предвещают ничего хорошего и что я скорее сыщик, нежели преступник. Можно было не сомневаться, она и не подозревала, что в Ципрбурге обитают преступники, конечно, если не считать меня.

Всё это не давало мне спать. И вот я решил ещё раз спуститься вниз. Если бы я опять что-нибудь уронил, я бы сослался на известные человеческие потребности.

Но я ничего не уронил. Я спустился, то есть сполз вниз, и благодарил бога, что лестница каменная, а не деревянная. Я прошёл мимо дверей в подвал и стал шарить по двери, стараясь найти ключ от караульного помещения.

Я никак не мог его найти, наконец, сообразил, что, очевидно, дверь не заперта, хотя я сам запер её час тому назад. Мне только оставалось ждать, не выйдет ли кто из комнаты. Я хотел было отступить, но в этот момент кто-то прыгнул на меня.

Не знаю, как он в темноте мог так хорошо угодить. Очевидно, это была чистая случайность, но он схватил меня за шею и начал душить. Если бы не это, так я бы наверняка заорал, потому что ужасно перепугался. Я старался разжать его пальцы, но он держал крепко. Я уже задыхался, так что о каких-то тайных приёмах нечего было и думать.

Этот «кто-то» сопел и крепко держал меня. Мы оказались в проходе. Я чувствовал себя ужасно. Потом я пнул коленом и наткнулся на что-то мягкое, человек охнул и чуть-чуть разжал пальцы, тогда я изо всей силы пнул ботинком по тому же месту. Удар попал в цель. Я слышал, как «кто-то» налетел на дверь подвала, она распахнулась. Послышался

шум, как будто упал мешок, потом что-то стукнулось о ступеньки ещё раза два, и всё стихло.

Представляете, как я обрадовался. Сначала я заботливо ощупал свою шею. Ужасно приятное ощущение, когда вас никто не душит. Вы даже не можете предположить, как такая мелочь радует. Если бы я знал, что в комнате кто-то начнёт меня душить, ни за что на свете бы туда не полез. У меня уже был горький опыт так года два тому назад. Иду я поздно вечером домой, а навстречу мне попадается дворничиха и говорит:

— Пан Блажинка, мне кажется, что у нас на чердаке кто-то есть, потому что двери там не заперты. Очень прошу вас: идите посмотрите, вы мужчина.

Я ей, конечно, не поверил, но не захотел подвергать сомнению свою репутацию, потому что такая дворничиха развонит об этом по всей улице. Влез я на чердак и стал пробираться под верёвками с бельём. Чиркнул спичкой.

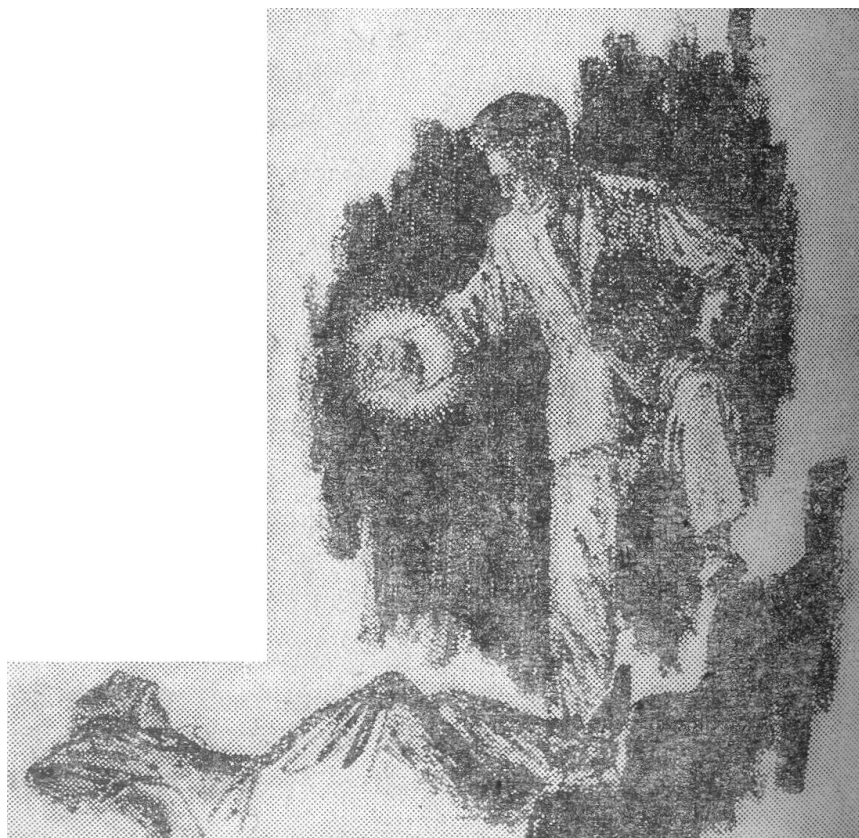
И в эту минуту мне кто-то дал по носу так, что я думал, мне его свернули. Парень пробежал мимо меня, на лестнице толкнул дворничиху и помчался вниз. Только входные двери уже были заперты, а внизу жили мясник и мусорщик. Так что он дорого заплатил за мой нос. Ещё хорошо, он его не проломил, мне и так далеко до Адониса.

Ну, а теперь тот, кто меня душил, лежит внизу в подвале, и я не знаю, что с ним. Может, это местный домовой, хотя Кунц и говорит, что привидений здесь нет. Но скорее всего не домовой, и прыжки на лестнице, видимо, не пошли ему впрок, потому что он молчит.

Даже если человек кого-то душил, не стоит оставлять его и подвале. Там и подохнуть можно. Мне, правда, не хотелось привлекать к себе внимание, да ничего не поделаешь. Не могу же я идти к Жачеку или к Кунцу и говорить им, что я видел вещий сон, будто кто-то упал в подвал.

Осторожность никогда не повредит. Спичкой я на сей раз чиркнул уже наверху. Внизу ничего не двигалось. Я зажёл ещё одну спичку и стал медленно спускаться по ступенькам.

Внизу лежал Жачек. Одна нога у него была подвёрнута, а около головы была лужа крови.



IX

Наверняка он был жив, но покалечился здорово. Я положил его более удобно и помчался вверх за Кунцем.

Когда он открывал мне двери, в руках у него была та самая парадная алебарда, он даже не старался её спрятать. Видимо, ночь была слитком бурной, к таким здесь не привыкли. Я сказал, что ходил в уборную, а когда возвращался, услышал в подвале стон, побежал посмотреть и нашёл там Жачека. Я добавил, что он, вероятно, по неизвестной причине направился в подвал, поскользнулся на мокрых ступенях и упал.

Кунц одевался и рассказывал мне об аферах со шлемом. Я сказал, что тоже что-то слышал сквозь сон, но не хотел выходить.

Совместными усилиями мы вытащили полумёртвого Жачека из подвала. Тащить его было ужасно тяжело. На голове у него была рваная рана и нога переломана. Пока Кунц заводил мотоцикл, чтобы съездить в деревню и вызвать по телефону «Скорую помощь» — в замке телефона не было, — я пошёл будить Жачкову. Она быстро поднялась. Как только узнала, в чём дело, зарыдала. И не удивительно.

Кунц поехал за помощью, а я старался перевязать Жачеку голову тем, что было под рукой. Пани Ландова, заслышав треск мотоцикла, через минуту спустилась вниз. Увидев меня рядом с окровавленной жертвой, слегка удивилась, но промолчала. Железная женщина.

Кунц вернулся приблизительно через полчаса, он долго не мог достучаться к трактирщику. Через двадцать минут прибыла «Скорая помощь». Жачек ещё не пришёл в себя. Его верная супруга поехала с ним. Она всё твердила, что не понимает, как это могло случиться.

Спать мы так и не легли. Пошли наверх в башню, сварили кофе и влили в него остаток кунцевского рома. Я думал своё, пани Ландова тоже, а о чём думал Кунц, трудно предположить. Разошлись мы под утро. Я довольно крепко уснул, потому что в отличие от остальных не спал с вечера ни полминуты и не знал, что Кунц позвонил доктору Вегрихту и рассказал ему обо всём, что случилось.

Доктор Вегрихт приехал вскоре после того, как я проснулся.

Он был ужасно перепуган. Я не совсем понимал, почему он так трясётся. Ведь его трудно было обвинить в том, что случилось, но есть такие люди, которые всё принимают слишком близко к сердцу. Чтобы хоть немного отвести душу, доктор отчитал Кунца, заявив, что такое здесь не должно твориться.

Я тоже так думал. Шея у меня всё ещё болела.

Наругавшись вволю, доктор Вегрихт уехал, предварительно заверив нас, что заедет ещё сегодня же или, самое позднее, завтра. Неясно только зачем.

Когда он уже уехал, я вдруг... вспомнил о сумке. Спустился вниз и заглянул под стойку. Пошарил там рукой.

Сумки не было. Исчезла бесследно. Теперь уж ничем не поможешь. Это я классически прошляпил. Я чуть не завыл с горя. Единственное, что хоть как-то меня оправдывало, были события последней ночи. Думайте что хотите, но я не привык, чтобы в меня целились из пистолета или душили. И наконец, мне не каждый день приходится сбрасывать в подвал бывших жандармов. У меня психика нормального человека. Если бы после всего я мог стряхнуть соринку со своих аккуратно отглаженных брюк, закурить как ни в чём не бывало любимую турецкую сигарету и безразличным голосом сказать что-нибудь остроумное о последних достижениях в Чили, я был бы ценной находкой для психиатра.

Доктор Вегрихт действительно после обеда приехал и привёз в своей машине (кстати, это была служебная машина, а не личная) пани Жачкову. Жачек сломал себе ногу. Но рваную рану на голове ему зашили, и ещё до обеда он пришёл в себя. Его жена успокоилась, но время от времени ещё всхлипывала. Она начала собирать вещи, которые должна была отвезти на другой день в больницу.

Доктор Вегрихт сидел наверху у Кунца и нервничал, как старая дева. Он твердил, что лестница должна быть освещена, и допытывался у Кунца, почему он не принял мер. Наверняка он ужасно боялся ответственности и всего такого прочего. Кунц пытался ему объяснять, что незачем было освещать подвальную лестницу, потому что там, кроме крыс, никого нет и что Жачеку там тоже нечего было делать. Пани Ландова и я изо всех сил старались поддержать Кунца. Но на доктора ничего не действовало. Вегрихт твердил, что подаст в Прагу рапорт о случившемся и что завтра поедет туда лично.

Кунц попросил его захватить грязное бельё, которое ему в Праге стирает старая тётя, и вытащил коробку из-под сахара, набитую грязными платками, носками и прочей гадостью. Доктор сначала очень решительно отказался, полагая, очевидно, что грязное бельё не соответствует важности его миссии. Но мы его уговорили. Однако эту коробку мы обязались завернуть в чистую бумагу. Доктор заявил, что в противном случае он не возьмёт её в машину. Он, видимо, боялся, чтобы

из коробки не выскочила какая-нибудь бацилла и не попала на него.

Наконец пани Ландова упаковала всё это, ни Кунц, ни я паковать не умели. Я заклеил свёрток клейкой лентой. Я никогда не знал толком, как с нею обращаться: облизать целиком или ещё что-то, поэтому я за спиной у доктора поплевал на неё и размазал пальцем. Я весь вымазался, а проклятая лента порвалась в двух местах.

Потом я пошёл с доктором к машине. Когда он взглянул на часы, я спросил его внезапно:

— У вас красивые часы, пан доктор, где вы их купили?

— Жачек мне их продал, — ответил Вегрихт, — дней десять назад. Как вы думаете, не было бы лучше, если бы присоединили письменное заявление от представителя ревизирующей организации, что вы не считаете необходимым освещение подвальной лестницы?

Я заверил его, что в случае надобности с удовольствием напишу такое заявление. Он мне уже надоел со своим страхом, и я облегчённо вздохнул, когда он, наконец, погрузил бациллоносную коробку и уехал.

В следующую ночь ничего не произошло.

Рано утром, когда мы завтракали, кто-то внизу закричал:

— Пан Блажинка! Пан Блажинка!

Я посмотрел вниз. Там стоял тот самый дед, которого я встретил на автобусной остановке в день своего приезда. Он показывал мне тогда дорогу в замок. Дед просил меня, чтобы я спустился, а потом сообщил, что вчера вечером звонили из Праги и сказали, что я обязательно утром должен позвонить пану Вошаглику.

Пан Вошаглик — это псевдоним начальника, то есть Старика. Этим именем мы пользуемся для телефонных разговоров. Если кто-нибудь на почте, или в ресторане, или вообще где-нибудь, откуда звонят, стал кричать, чтобы позвали к телефону капитана Жирардо, на это наверняка бы обратили внимание. Ведь мы же не при осаде Арраса.

Я собрался и пошёл в деревню. По дороге дед рассказывал, что Ферда, то есть зять, не может отлучиться из магази-

на, что Андудька болеет, а дети в школе, так вот и старый дед понадобился. Я сказал: «Да, да», — потому что я всё ещё злился на себя из-за этой сумки.

На доме над вывеской «Едноты» было написано «Гостиница». Слово замазали после войны дёгтем. Дёготь за эти годы стёрся. Зять Ферда был толстый, с усиками, как у покойного фюрера. Это уж такая сельская мода.

Телефон находился в кухне. Прежде чем говорить, нужно было покрутить ручку. Двойник фюрера позвонил в Маркету на почту, сунул мне трубку в руку и пошёл в магазин, чтобы там не стащили какую-нибудь ценность вроде плётки.

Из Маркеты меня соединили с Прагой. Я назвал номер, через минуту кто-то отозвался, и меня соединили с паном Вошагликом. Голос на другом конце провода сказал, что товарищ капитан болен и что у телефона Бахтик. Я сказал, что сожалею, — оно так и было.

Бахтик сообщил, что я должен немедленно прервать отпуск и вернуться в Прагу. Я ответил, что не могу, а он:

— Что значит «не могу»?

Очевидно, заменял начальника. Вот радость-то! Я спросил, зачем мне нужно возвращаться. Он сказал, что установлена личность мёртвого из Дечина, что это был Франтишек Местек, механик речного судна, постоянно проживавший в Дечине. Месяц назад его уволили за пьянство, и он собирался ехать в Липну на плотину. Теперь его разыскивала какая-то девица из-за алиментов. Выяснилось, что вещи Местека остались на квартире у хозяйки и что его недели три никто не видел. В Липну он, конечно, не заезжал.

Девица признала вещи покойного. О часах она ничего не знала, а при составлении протокола заявила, что Франта всегда был со странностями.

Бахтик выразил пожелание, чтобы я немедленно возвратился в Прагу и занялся этим делом. Не имело смысла с ним ругаться. Мне ничего не оставалось, как рассказать ему хотя бы то, что я считал нужным. Как я прошляпил сумку, не стал ему говорить. Он заявил, что сделает для себя заметки. Он всегда всё записывает и, чтобы никто не прочёл его записей, пишет неразборчиво. Потом сам ничего прочесть не может.

Он буквально вытянул из меня фамилии тех, на кого падало подозрение. Только потом мудро решил, что в таком случае я не должен возвращаться.

Я попросил его узнать, выдано ли удостоверение на оружие на имя Веры Ландовой. Подождал у телефона. Удостоверение было выдано. Бахтик хотел дать мне ещё несколько мудрых советов, но я повесил трубку.

Дед старательно подслушивал за дверями, но, видно, был слишком глухой, так что много не наслушал. Он спросил меня, не семейные ли это неприятности. Я сказал «гм», дед на это ответил, что у всех семейные неприятности.

У меня нет. Ни неприятностей, ни семьи.

На холм я взобрался без труда. От злости даже забыл вспотеть. У калитки встретил пани Жачкову. Она несла большую сумку.

— Еду в больницу к старику, господин инспектор. Везу ему пижаму и зубную щётку. Ночью я ничего не успела дать ему с собой.

Она всё время величала меня инспектором. Была твёрдо убеждена, что каждый человек, занимающийся инспекцией, — инспектор, и конец. Каждый раз, когда она это произносила, я вздрагивал.

Предложил ей поехать с ней. Посещение больных — проявление христианского милосердия.

Жачек был в палате один. Нога у него была в гипсе, а вообще-то он выглядел неплохо.

— Так что, пан Жачек, болит ножка-то? — говорю я с глупой улыбочкой.

Ответил, что болит. Ночью, видно, меня не узнал.

— А как вы попали на эту лестницу? — расспрашивал я. — Что это вам взбрело на ум идти ночью в подвал?

Он утверждал, что услышал ночью какой-то шум и пошёл посмотреть. Я сказал, что это достойно всяческой похвалы, но нужно было взять с собой фонарь. Видимо, он не подготовился к такому допросу и поэтому пробормотал что-то невнятное.

— Сколько времени? Не опоздать бы нам на автобус, — сказал я.

Он протянул руку и вытащил из столика огромную «луковицу».

— Что это вы рвёте себе этой луковицей карман, — говорю, — а пану доктору Вегрихту продали такие красивые часы.

Ответил, что привык к карманным, и даже глазом не моргнул. Жандарм есть жандарм.

— Так зачем же вы их покупали, если не носите?

Это уже была далеко не светская беседа, но почему бы мне не быть нахальным, как и другие нормальные граждане? Жачек косо посмотрел на меня и ничего не ответил.

— А где вы их, собственно, купили? — продолжал я с мирной улыбкой. — Очень красивые Часы.

Он сказал, что нигде не покупал и что получил их от племянника.

Весьма правдоподобно, но тогда ему нечего было делать в подвале.

— Ой, чуть было не забыл, пани Жачкова! Вы должны зайти на третий этаж в канцелярию за бюллетенем. Пан Кунц мне говорил.

Ушла.

Я надеялся, что она будет искать эту канцелярию довольно долго, потому что действительно канцелярия находилась на первом этаже.

Х

Двери захлопнулись, и я начал.

— Пан Жачек, эти часы вам никакой племянник не давал. Молчите? Где вы их взяли? Нашли? Если вы их нашли, почему вы их не сдали? Только вы их не нашли, вы их взяли из сумки, да, из той чёрной сумки, на которую вы вчера вечером ходили смотреть. Что вы об этом знаете?

Он закрыл глаза и сразу притворился ужасно больным. Ага, жук тоже с приближением опасности притворяется мёртвым, а потом выпускает вонючую жидкость.

— Не симулируйте! — крикнул я. — Этим вы себе не поможете, это вы отлично знаете. Быстро: как к вам попали эти часы?

— А какое вам дело? — он вскочил и сразу ожил. В душе я очень обрадовался. Если у людей рыльце в пушку, то они начинают грубить только тогда, когда ничего лучшего не остаётся. Теперь его нужно было основательно допросить.

— Какое мне дело? Вот смотрите! — Я сунул ему под нос служебное удостоверение. — Так! Не имеет смысла что-то скрывать! Кто вам дал эту сумку?

— Я ничего не знаю. Никакой сумки я не видел. Часы я нашёл, это правда, а не сдал их потому... потому что их всё равно никто не стал бы разыскивать.

— Ах так? А что же вы делали ночью в караульном помещении?

— Я в караульном помещении не был.

— Не лгите. Я вас видел. Кто вас толкнул в подвал?

— Никто, я сам упал, ведь вы это знаете.

— Чёрта с два. Знаете, кто вас толкнул? Я! А знаете почему? Потому что не хотел, чтобы вы меня задушили. Что вы, с ума сошли, ведь это же попытка совершить убийство! Вы представляете, что это значит?

Он представлял. Начал волноваться.

— Волнуйтесь, волнуйтесь, есть из-за чего. Вы совершили преступление, за этим последует наказание. Я, конечно, обо всём доложу, говорю вам заранее. Только не думайте, что я хочу вам как-то лично отомстить. Вы сами себя наказали так, что этого хватит на кровную месть до третьего колена. Только... молчите и дайте мне сказать... Справедливость — это не моё личное достояние. Серьёзно, нет. Не могу с вами из-за неё торговаться, как из-за дюжины яиц.

Мне было его почти жаль. Вообще-то это был противный старик и, наверное, в своё время был противным жандармом. Только когда он здесь лежал весь зелёный, в бинтах, он казался мне ужасно беспомощным и старым.

— Послушайте, — говорю, — уважаемый, уж раз я всё знаю, не стоит запираяться. Всю жизнь вас учили, что нельзя содействовать преступлению, ведь так?

— За то, — говорит Жачек, — за то, что я всю свою жизнь выполнял все предписания, дождался я хорошей бла-

годарности. Чуть ли не нищенствовать должен на старости лет!

Ой-ой! Человек всегда охотнее пожалеет того, кто сам себя не жалеет.

— Извините, — говорю я, — но вы всё немного драматизируете. В те годы, когда можно было для себя что-то решить, вы выбрали известный путь. Если бы вы выбрали другой, может быть, сейчас у вас бы и были права на какую-то благодарность, которой вы хотите. Только и это бы не дало вам права нарушать закон.

Мне было немного стыдно. Я знал, что мне легко говорить. Сорок лет назад было немного труднее выбирать, чем сейчас.

— Вы что, хотите мне здесь прочесть политинформацию после того, как вы меня так разукрасили? Это на вас похоже.

— Извините, — говорю, — не я первый начал. И уж раз мы об этом говорим, то пожалуйста. То, чему вы служили, рухнуло, у вас нет никакого права требовать благодарности от людей, против которых вы всю жизнь боролись. Всё равно, делали ли вы это по убеждению или из-за куска хлеба.

Мне уже не было его жалко. Я не казался себе воплощением исторической справедливости. Человек никогда не кажется сам себе воплощением абстрактного понятия. Мне уже не казалось, что он только на старости лет испортил себе жизнь преступлением. Он, собственно, всю свою жизнь портил с самого начала по своей инициативе. Самая противная профессия, по-моему, — это заставлять других смиренно, без шума терпеть несправедливость.

— Надеюсь, вы понимаете, что не имеет никакого смысла запирается, — сказал я ему и сделал рыбы глаза. — Не будем спорить из-за очевидных фактов. Кто туда положил эту сумку?

— Я не знаю.

— Что? — для разнообразия я грозно посмотрел на него.

— Ей-богу не знаю, — твердил Жачек. — Она уже там лежала.

— Когда?

- Две недели назад.
- А вы взяли из неё эти часы?
- Да.
- Только одни?
- Да.
- Почему?
- Видите ли, я думал, что пропажу одних сразу не заметят.

В этом он был прав.

- Вы знали, что с этими часами не всё в порядке?

— Знал.

- Что вы думали?

— Что это краденые.

Ага, старая школа!

- Что вы с ними сделали?

— Продал их пану доктору.

— Почему?

— Не хотел их держать у себя.

— Сколько он вам за них дал?

— Триста.

— Почему вы не заявили, об этом я вас не спрашиваю.

Просто не заявили. Что вы делали потом?

— Как потом?

— Ну, я хотел спросить, интересовались ли вы и потом этой сумкой? Ходили на неё взглянуть?

— Да. Но её уже там не было.

— Когда вы её нашли там в первый раз?

— В воскресенье вечером.

— Когда вы снова пошли посмотреть?

— В понедельник утром.

— Её уже там не было?

— Нет.

— Когда вы продали часы доктору Вегрихту?

— В среду.

— Почему не раньше?

— Потому что раньше он не приезжал.

— А почему вы их продали именно ему?

— Ну, в деревне мне их продавать не хотелось, а у пана Кунца уже есть часы. А потом у пана Кунца на новые всё равно нет денег.

— Ну, послушайте, а как вы наткнулись на эту сумку?

Наступило молчание. Очевидно, ему не хотелось об этом говорить.

— Я, знаете, всегда, когда уйдут туристы, смотрю, не потерял ли кто чего.

— Чтобы потом сдать в бюро находок, да? Ну, это уже ваше дело. Ну, а теперь скажите мне, что вы делали в воскресенье ночью в караульном помещении и сколько раз вы там за эту ночь были?

— Я был там два раза. Один раз после ужина, а другой раз, когда вы там были.

— А чего вы там искали?

— Я смотрел, там ли сумка, потому что хотел узнать, кто её туда положил и кто за ней придёт.

Ясно было зачем. Хотел шантажировать преступника, потому что другого ждать от него нечего. Но разве это докажешь!

— Вы туда ходили всё это время каждый день?

— Да, ходил.

— А когда вы снова нашли эту сумку?

— В субботу утром.

— В пятницу её ещё не было?

— Нет, в пятницу ещё не было.

— Ну, а как же вы туда ходили каждый день, если пана Кунца на неделе не было?

— Старуха попросила у пани Ландовой ключи, сказала, что идёт убираться.

С меня было достаточно, а кроме того, в двери просунулась пани Жачкова и злобно поглядывала на меня.

— Канцелярия на первом этаже, — сердито сказала она. — И никто там от меня ничего не хотел.

— Очень может быть, — признался я, — но зато я вам хочу что-то сказать. Садитесь.

Она взглянула на своего мужа. Он кивнул. Села. Обратите внимание, что за долгие годы супружества всегда один

подчинит себе другого. Здесь верховодил, несомненно, Жачек.

— Так слушайте, — говорю, — чтобы нам здесь долго не задерживаться. Я из уголовного розыска.

— Господи, грехи твои! — тихо вскрикнула старуха.

— Да, господи, грехи твои, но ваши-то наверняка, потому что на совести у вас грехов больше, чем достаточно.

— Мы ничего... — начала пани Жачкова, но муж решительно остановил её.

— Ваш муж украл из найденной сумки часы, — продолжал я, — хотя он мог предположить и предполагал, что имеет дело с незаконно присвоенными предметами. Он не заявил об этом в органы, часы оставил себе и продал их доктору Вегрихту за триста крон. Потом он следил, когда сумка снова окажется на своём месте, и когда застал там ночью меня, то чуть не задушил, так что я, к сожалению, должен был столкнуть его в подвал. Он это признал. Думаю, что вы о многом из того, что я сказал, уже знали.

Она начала плакать.

— Тихо, старуха, — сердито сказал Жачек. Потом она уже всхлипывала совсем тихонько.

— Всё это противозаконно. Вы, пан Жачек, как бывший жандарм, отлично знаете это. Что это уголовное дело, вы тоже знаете. Не сердитесь на меня, но обычно всё это начинается разбавлением лимонада, а кончается совсем плохо. То, что вы сделали, я, конечно, не могу и не буду покрывать. Думаю, что вы этого не заслуживаете, если уже на то пошло. За то, что вы меня душили, я вам ничего лишнего не припишу. В конце концов это касается нас двоих, к тому же вы уже достаточно наказаны тем, что свалились в подвал. Надеюсь, вы не будете лгать. Если дополнительно что-то выяснится, вам не поздоровится. Правильно я говорю?

— Правильно, — подтвердил он, не упорствуя.

Я ещё предупредил их, чтобы они никому не говорили ни слова, и посоветовал поразмыслить о выгодах частного предпринимательства. Когда я уходил, баба заорала мне вслед:

— Благородный благодетель, спасибо! Спасибо!

Тьфу, дьявол, наверняка вычитала это сто лет назад из календаря Печирки.

Автобус на Ципрбург уже, конечно, ушёл. Я попытался голосовать. Длилось это довольно долго, потому что ехали только новые машины. Не знаете ли, почему это владельцы новых машин редко кого подвозят? Наконец усатый дядя посадил меня на мотоцикл. Дело было к вечеру, Кунц готовил на ужин яичницу и сообщил мне, чтобы я немедленно позвонил с почты пану Вошаглику. Я сказал, что это мой зять, который собирается менять квартиру. Надо же что-то сказать, даже если вас не спрашивают. Кунц промолчал, за что я был ему очень признателен. Предстоящее путешествие с холмика и обратно делало всякое сочувствие излишним.

В Праге к телефону подошёл всё тот же Бахтик.

— Так всё-таки ты можешь вернуться, — сказал он с торжеством в голосе. — Мы уже задержали преступника.

— Кого? Что?

— Ну, преступника! Мы задержали доктора Вегрихта, когда он въезжал на машине в Прагу, потому что ты же сказал нам, что он туда едет, и нашли у него пятьдесят штук часов в кожаной сумке. Что ты на это скажешь?

Я потерял дар речи. Мы не мальчишки, чтобы состязаться, кто кого переплюнет. Это просто свинство. Всё равно, если бы вы начали, скажем, делать ванну, а кто-то бы вам к ней ночью привинтил колёсики, потому что ему показалось, что так надо. Вряд ли бы вы обрадовались. Когда человек что-то начинает делать, ему хочется закончить это самому, не из-за престижа, а потому что ему виднее, что к чему. Это уже вошло в традицию, и с этим считаются. Конечно, если бы Бахтик сумел что-то сделать, чего я не сумел, чего бы я не заметил, тогда обычаи побоку, хотя я и не стал бы прыгать от радости.

— Где были? — спрашиваю я коротко.

— В сумке, — хрипел телефон, — я же тебе говорю!

— Ну да, а где была эта сумка?

— В коробке с бельём, вот бы не подумал!

Этого бы я и вправду не подумал.

— Была закрыта?

— Сумка?

— Коробка!

— Завёрнута и заклеена клейкой лентой, но я её открыл. Можешь на неё в Праге посмотреть, мы её здесь для тебя припрятали. На бумаге отпечатки пальцев, мы уже сравнивали, чтобы он потом не говорил, что ему кто-то подsunул сумку. А теперь давай возвращайся, потому что работы по горло. Возьмёшь это дело со «Стройконструктом».

Очевидно, радости его не было конца. Аферу растратчиков из «Стройконструкта» начал расследовать Бахтик месяца два назад. Он допросил человек пять, но растратчиков среди них не оказалось, так что пришлось перед всеми извиниться. С тех нор никто не хотел этим заниматься.

— Подожди, — говорю, — скажи, пожалуйста, эта клейкая лента не была случайно порвана?

— Да нет, не порвана, — кричал Бахтик, — но она была слеплена из трёх кусков. Наверное, очень нервничал. В тюрьме совсем свихнулся, молчит и плачет. Ну, это мы знаем. Нет, всё ясно. Ведь отпечатки-то от клея свидетельствуют против него. Так приезжай завтра, выходи на работу.

Дзинь. Повесил трубку.

Я тоже повесил трубку. Приказ есть приказ. Завтра я выйду на работу. Наверх я не спешил. Ничего там от меня не убежит.

Кунц сидел в башне за своим столом и читал Флобера. Три яичка и хлеб с маслом он приготовил для меня и поставил на камин.

Я разбил первое яичко и, вспомнив уроки чешских классиков, сказал:

— Арестовали нашего доктора Вегрихта!

XI

Кунц опустил книгу на колени и удивлённо уставился на меня своими синими глазами. В эту минуту он был похож на «проснувшуюся» куклу-моргалку.

— Что? Кого?

— Доктора Вегрихта, — терпеливо объяснил я, — посадили в тюрьму. Понимаешь, сидит!

— Где?

Я не хотел разглашать подробности и сказал:

— В Праге, в следственной тюрьме.

Кунц недоверчиво покачал головой, очевидно, у него это не укладывалось в голове.

— А скажи, за что его посадили?

— Не знаю, — сказал я безразличным тоном, — из-за каких-то часов, что ли. Или это были ворованные, или контрабанда, не знаю. Ведь никогда бы не подумал, правда? Ну, да ничего не поделаешь.

Я стал возиться со спиртовкой, чтобы показать, что разговор окончен, но Кунц, конечно, всё ещё не унимался.

— Какие часы? Что?

— Да не знаю. Зять, то есть Вошаглик, работает в министерстве, а там уже об этом знают. Я его долго не расспрашивал. Не моё это дело, но якобы у доктора были какие-то часы в машине, он вёз их в Прагу, а часы эти контрабандные. За ним давно следили, а теперь его, наконец, поймали... Ты в яичницу лук не кладёшь?

Кунц вытащил пакетик с луком из шкафа. Доктор Вегрихт никак не выходил у него из головы.

— Мне что-то не верится, — начал он, — чтобы именно доктор этим занимался. Может быть, какая-нибудь ошибка.

— Вряд ли, — говорю. — Я в такие ошибки не верю. А в общем-то не наше дело, они разберутся.

— Ну да, — сказал Кунц, — а что, если их ему подсунули?

— Ты что, детективов начитался? Кто бы их ему подсунул? Раз уж ты читаешь детективы, так должен знать, что в таком случае на них должны быть отпечатки чьих-то пальцев.

— А нашли его отпечатки?

— Ну, конечно, господи! Так по крайней мере зять говорит.

— На часах?

— Нет.

— Так может быть, он просто взял коробку в руки и оставил на ней отпечатки пальцев.

— Да, это может быть. Он якобы с самого начала говорил, что эта коробка не его.

— А чья? — с сомнением спросил Кунц. — Послушай, а не моя ли это коробка?

— А откуда я знаю? Если тебя это так интересует, так спроси на допросе. Всё равно тебя туда вызовут.

Ципрбуржский управляющий комкал сигарету.

— Зачем меня будут вызывать?

— Ну, так ведь всегда поступают, когда хотят узнать, что это был за человек и что он делал.

Кунц закурил.

— Я о нём ничего плохого сказать не могу. Конечно, особо нежных чувств я к нему не испытывал, думаю, что их никто не испытывал, но это ничего не значит. Я бы не желал ему зла. Вот неприятность, что мне там говорить?

— Да не ломай себе голову, — говорю я, — это уже формальность. Доказательства против него, поэтому даже и не нужно признания.

— Ну да, вряд ли он сознаётся.

Я доел яичницу и вытер сковородку коркой.

— Представляешь, он уже сознался.

Кунц посмотрел на меня так, как будто бы у меня изо рта выскочил огонь.

— Сознался? Как?

— Чего ты удивляешься? Наверное, уже не мог отрицаться, вот и признался. Готово дело. Говорят, что лучше сознаться, это смягчает вину. Что ты так удивляешься?

— Я не знаю, — с сомнением сказал Кунц. — Но обычно люди запираются, по крайней мере так в книжках пишут. Каждый старается защищаться, когда надо спасти свою шкуру, и запирается до последнего. Если уж кто-нибудь этим занимается, так не станет же он сразу сознаваться, как только на него пальцем покажут.

Я пожал плечами.

— Правда, я об этом знаю только из детективов, но, по моему, только идиот будет запирается, когда уже нет смысла. Такой неглупый человек, как доктор Вегрихт, наверняка понял, что у них в руках факты, и сказал правду, чтобы иметь

смягчающее вину обстоятельство. Думаю, что это самое разумное.

— Это конечно, — согласился Кунц, — но у меня всё равно это не укладывается в голове.

— Не ломай себе голову. Гораздо хуже, что я сегодня вечером должен вернуться в Прагу. У нас с зятем общая квартира, мы хотели её разменять, но ничего из этого не выходит. Мы хотим её сначала разгородить, а потом менять, но национальный комитет нам запретил, так я туда должен ехать.

— Вот некстати, — сказал Кунц, — а тебе действительно так срочно нужно ехать?

— Надо. Когда идёт последний поезд?

— Через три часа, из Будейовиц. Но на автобус ты уже не успеешь. Я тебя отвезу на мотоцикле.

— Ты не парень, а золото. Я тебе заплачу за бензин.

— Ерунда, — махнул Кунц рукой. — Но ведь ты вернёшься потом сюда из Праги?

— Конечно, через пару дней.

Кунц погасил сигарету в пепельнице.

— Я тебе дам с собой какую-нибудь жратву в дорогу. У меня есть кусок грудинки и хлеб, подожди минутку.

Я отказывался, но Кунц только улыбнулся и отрезал мне два ломтя хлеба.

— Я ещё тебе дам огурец, но смотри не разомни его в сумке!

Хороший он был парень. Я не думаю, что Кунц хотел что-то от меня за свой огурец и за своё хорошее отношение ко мне во время моего пребывания в Ципрбурге. Дело в том, что техники-строители не уполномочены повышать зарплату управляющим замков. Кунц простой, хороший человек, которому я был симпатичен. Он мне тоже был по-своему симпатичен. Если бы я был ему неприятен, он бы этого не скрывал, не лицемерил.

Лицемер относится к человеку хорошо или плохо в зависимости от того, чего он ждёт от этого человека, и отношение меняется в зависимости от того, как меняются возможности этого человека. Поэтому подхалимы всегда измучены, как, например, доктор Вегрихт. Такие люди, наверное, и но-

чью не спят, всё думают, кто для них что-то может сделать, а кто не может. В общем, если разобраться, тяжёлая жизнь у подхалимов, потому что постоянное взвешивание всех «за» и «против» омрачает им радость от достигнутых успехов.

Кунц не был таким.

Он завернул хлеб и грудинку в газету и начал искать огурцы. Они стояли в бутылки наверху, на шкафу. Ему пришлось встать на цыпочки и вытянуть руки. Бутыль была пятилитровая, почти полная.

Когда он держал её в воздухе, я сказал:

— Осторожно держи!

Он держал.

Потом я взял бутыль у него из рук и сам поставил на стол, потому что на руках у него уже были наручники.

XII

Конечно, Кунц пытался их сбросить.

— Не дёргай, — говорю, — будет больно.

Он и сам это понял и перестал.

— Глупые шутки, — сказал он сердито.

— Да, если это расценивать, как шутку, так это довольно примитивно. Садись.

Он сел и посмотрел, не смеюсь ли я. Я не смеялся. Во-первых, я никогда не смеюсь над своими шутками, во-вторых, весёлое настроение не входило в мои планы, а скорее наоборот. А потом было бы немного цинично смеяться в такой ситуации. А я, извините, не циник, хотя на первый взгляд может так показаться. Правда, я не расплачусь по поводу того, что, скажем, вчера козлёнок бегал, блеял и радовался жизни, а сегодня из него приготовили жаркое. В наши дни козлятам обеспечен законный конец в духовке, но я не утверждаю, что люди должны кончать в тюрьме. Жаркое из козлят вкусное, для того мы их и разводим. Люди в тюрьмах нам не нужны. Человеку не место в тюрьме.

Ужасно просто и глупо сунуть злого Дитриха за решётку и радоваться, что всё в порядке. Если кто-то попался, то это ещё совсем не означает, что всё в порядке для него и для всех остальных. Это только начало, потому что его посадили

туда не для того, чтобы было кому подметать двор, а для того, чтобы он подумал о своей жизни, если уж этого не сделал раньше. Только в редких случаях речь идёт об изоляции опасного и неисправимого преступника, но тогда уже и совсем не до смеха.

Я не считал Кунца неисправимым, а цинизм, простите, не является в моих глазах доказательством душевного превосходства, скорее — постыдной неполноценности.

Поэтому я не заламывал руки и не кричал: «Попался, злодей!» или ещё что-то в этом роде, а сел напротив и предложил ему сигарету. Он не мог закурить в наручниках. Я поднёс ему спичку.

— Послушай, — говорю, — давай говорить начистоту. Пора.

Он затанулся и пришёл в себя.

— Что это значит? — говорит. — Снимите это!

— И не подумай, голубчик. Я здесь не собираюсь с тобой драться, даже если тебе этого хочется. Мы не в кино. Ты бы мог разорвать мне пальто, а это только усугубит твою вину, потому что я представитель закона. Тебе ещё будут говорить — «вы, гражданин обвиняемый», потом в суде — «вы, гражданин подсудимый», а потом тебя вообще на какое-то время перестанут называть гражданином.

Он немного побледнел. Довольно неприятная перспектива.

— Так кто должен был взять эти часы?

— Какие часы?

— Ну, те, за которые доктор Вегрихт попал в тюрьму. А может, здесь ещё какие-то были?

— Я-то откуда знаю? Об этом знает доктор Вегрихт.

— Ты что, ему об этом рассказал?

— Я о них ничего не знаю. Ведь он же сознался!

— Держи карман шире, сознался, — говорю я, — часы были в твоей коробке с бельём.

— Он их туда засунул, я ничего не знаю. А если не он, так ещё кто-нибудь.

Я уселся поудобнее.

— Послушай, так мы с места не сдвинемся. Я тебе только что говорил, что разумный человек не станет лгать и запираяться, если против него есть очевидные доказательства. Не имеет смысла. Часы туда никто засунуть не мог, потому что я сам заклеил коробку и два раза порвал ленту, так что вряд ли доктор мог потом заклеить её точно так же. Он бы не заметил, что лента порвана. Кроме того, мы заклеили коробку по его просьбе.

— Да, но на коробке были его отпечатки.

— Ну да, мне это тоже показалось странным не потому, что они там были, а потому, что я и сам тогда весь вымазался клеем. В общем главное, что там должны быть отпечатки моих пальцев по всей ленте и по краям. Это бы он не смог подделать. Посмотрим в Праге, есть ли они. Но я даю голову на отсечение, что есть. Ну что?

Он молчал.

— Смотри на вещи трезво. Если бы он хотел засунуть в коробку часы, так нам не пришлось бы упрашивать взять её с собой. У него было много возможностей припрятать её, если бы он что-то почуял. У тебя была только эта возможность. Кроме того, сумка с часами, как всем известно, лежала в караульном помещении под стойкой. Исчезла она оттуда ночью, когда Жачека увезли в больницу. Жачек её не брал, это уже другая игра, его жена тоже не брала, потому что уехала с ним. Я тоже не брал. Кроме того, эта сумка появилась там только в субботу, а доктора Вегрихта тогда здесь уже не было. Так что он её туда положить не мог. Жачек, Жачкова и я тоже отпадаем. Остаётся вы с пани Ландовой. Если не ты, так она. Ясно как день.

Он молчал. Я встал.

— Минуточку терпения, — говорю. — Я за ней схожу. Наверное, она обрадуется, когда узнает, что ты её обвиняешь. Но я тебе скажу сразу, одно дело, скажем, таможенное правонарушение, а другое дело впутать в это человека, ничего не подозревающего, тем более женщину, которая или, скажем, с которой... ну и так далее. Так я за ней иду.

Я не пошёл к дверям, а подошёл к нему и положил руку ему на плечо.

— Она это сделала?

Он посмотрел на меня. Покраснел до корней волос, а потом сказал:

— Нет.

Я сел на свой стул. Если бы у меня не было против него столько доказательств, я бы никогда не решился так сделать, потому что таким образом я мог заставить его взять на себя чужую вину, выручить женщину, с которой он был близок. Это рискованно. Но соучастие пани Ландовой было почти исключено, а его собственная вина была настолько очевидна, что нужно было только сломать лёд.

— Если бы ты сказал, что ничего не знаешь и что это её вина, тебе бы это всё равно не помогло. С твоей стороны это было бы лишней подлостью, и хорошо, что до этого не дошло. Об этой коробке, если ты не забыл, ты вспомнил раньше, чем я сказал, что часы нашли в ней.

Я объяснил ему, что, сознавшись, он облегчит свою участь.

— Я думаю, что эти часы ты получал крупными партиями. Сам ты их через границу не провозил, это ясно. Перевозил их один человек или группа?

— Насколько мне известно, один.

— Ты его знал?

— Да.

— По фамилии?

— Он назвался. Не знаю, была ли это его настоящая фамилия.

— Думаешь, что он занимался контрабандой лично?

— Не знаю, вряд ли, не похоже.

— Ты бы его узнал, если бы увидел?

— Конечно.

— Как он выглядел?

— Брюнет, волосы с проседью, в очках, испорченные зубы, на вид лет пятьдесят.

— Чем он занимается?

— Не знаю. По виду скорее всего служащий.

— Где ты с ним познакомился?

— В поезде. Когда я ехал из Праги, чтобы получить это замечательное место. Этот человек сидел со мной в купе. Мы разговорились. Я сразу сказал ему, как обстоят мои дела, потому что я об этом каждому говорил. Надеялся, что, может быть, кто-нибудь знает о каком-то месте получше. Говорили мы о чём попало, главным образом о деньгах, потому что о деньгах вообще много говорят, а у меня тогда не было ни копейки. Я сказал ему, что хочу попасть сюда в Ципрбург, потому что здесь освободилось место.

Направил меня сюда доктор Вегрихт. Он знал моего отца и корчил из себя благодетеля, хотя в общем-то не делал ничего незаконного, потому что вряд ли кто-нибудь стремился попасть на такое место. И всё-таки Вегрихт осторожничал. Попутчик очень хотел знать, выйдет ли у меня что-нибудь. Потом он сказал, что если я это место не получу, так он что-нибудь для меня придумает. Мы договорились встретиться в кафе после того, как у меня решится вопрос с работой.

Я зашёл в это кафе, когда мы уже с доктором договорились, что я поступаю работать в Ципрбург. Но мне было интересно, почему этот незнакомый человек принимает во мне такое участие, я всё-таки решил, что не зайти невежливо. Он очень сожалел, что у меня будет такая маленькая зарплата. Я тоже об этом думал, но выбора не было. Быть подсобным рабочим мне не хотелось, а в остальных местах недоучившихся студентов особенно не ждут.

Господин назвал себя Пецольдом и спросил, не хотел бы я подработать. Я, конечно, не возражал. И тогда он сказал, что ему нужно было бы время от времени прятать контрабандные часы. Сказал, ничем не рискуя, потому что уже меня раскусил. Он понял, что я не пойду на него доносить, и видел, что деньги мне нужны как воздух. Он ещё раз подчеркнул, что часы эти контрабандные, а не краденые. Краденые часы я, конечно, прятать бы не стал.

Последние слова Кунца я оставил без внимания. У каждого свои предрассудки. Кунц продолжал:

— Риск был минимальный, а этот Пецольд пообещал мне полторы тысячи в месяц и выплачивал их. Первые полторы тысячи он мне дал сразу. Потом это делалось так, что кто-

то, сначала он сам, а потом кто-нибудь из туристов, приехавших в субботу или в воскресенье, засовывал под стойку сумку с часами. Эту или другую. Лежала она с левой стороны. Я каждый раз заходил туда посмотреть, а по вечерам уносил сумку и прятал её. Так мы договорились с Пецольдом, остальных людей я не знал в лицо.

В среду или в четверг я ездил в Будейовицы. На вокзале в уборной были мелом написаны числа, иногда десять, пятнадцать, самое большое — двадцать, иногда и два числа. Эти числа я стирал. И столько штук, сколько было написано, завёртывал в бумагу и клал под стойку, только с правой стороны, а оттуда их тоже кто-то брал. Если было два числа, так я делал два свёртка. Вот и всё.

— Ну и как, всё было в порядке?

— Ну да. Всегда то, что оставалось, я оставлял в сумке, и это исчезало вместе с ней. Новая партия поступала раз в три недели, без предупреждения, но брали часы каждую неделю. Последнюю партию я получил три недели назад. Эта была та самая сумка, которую ты видел. Потом что-то случилось, потому что уже никаких чисел в уборной не было. Я не знал, что делать, и каждый раз клал на правую сторону всю сумку. Только её никто не брал. Наконец у меня не выдержали нервы, и я послал сумку с доктором в этой коробочке в Прагу. Родные ни о чём не знают, но я думал, что будет лучше, если её здесь не будет. Доктор, конечно, тоже ни о чём не имел понятия. Если бы имел, так бы умер от ужаса.

— И никто другой ничего не знал?

— Ну что ты, кому бы я стал рассказывать?

— А Вере ты не говорил?

— Зачем? Она сюда приехала месяц назад и не имеет к этому никакого отношения.

— Ты с ней раньше был знаком?

— Нет, мы познакомились здесь.

— А теперь мне ещё скажи, куда ты всё это на неделе прятал? Хранил это здесь?

— Только последние дни, а раньше я прятал всё в трубу. На чердаке в трубе есть заслонка. Сейчас не топят, зимой тоже почти не топят, но зимой меня ещё здесь не было. Сумку я

закрывал чёрной тряпкой и спускал вниз на шпагате, шпагат я тоже красил в чёрный цвет.

— Вот это да. Это мне в жизни не найти бы. Знаешь что, — сказал я, — я сейчас всё это запишу, а ты подпишешь, чтобы в Праге тебя уже не допрашивали. Я тебе всё буду читать по предложению. Если я что-нибудь напишу не так, ты меня поправь. Где у тебя бумага?

Я сел и записал всё, что он мне рассказал, потом освободил ему правую руку, чтобы он мог подписать. Потом мы сидели и курили.

Я понимал, что должен отвезти его в Прагу. До Будейовиц, а оттуда на поезде, и что всё это я должен сделать сам. Если бы я пошёл в деревню звонить из магазина в Будейовицы, в наше краевое управление, чтобы просить машину, я бы должен был взять Кунца с собой, а уже было довольно темно. Мне решительно не хотелось таскать его с собой в потёмках. А что, если он вздумает удрать? Часто бывает, что преступники сначала сознаются, а потом передумывают.

Вот я и сидел, и думал, как мне всё это сделать, вдруг кто-то постучал в дверь. Я сказал: «Войдите!» И вошла пани Ландова. Когда она увидела Кунца с «браслетами» на руках, она посмотрела сначала на меня, потом опять на него, потом снова на меня и спросила:

— Во что это вы здесь играете?

ХIII

— В жандармов и преступников, — отвечаю я начистоту. Пани Ландова нахмурилась.

— Непохоже, что играете, — сказала она.

— Мы вживаемся в образы, — выкручивался я. Этим мгновением воспользовался Кунц.

— Можно сказать? — спросил он.

Он сбил меня с толку, но я не возражал.

— Вера, — сказал он. — Это товарищ из уголовного розыска, а я здесь прятал контрабанду. Как видишь, меня попутали, ну не сердись, я тебе об этом ничего не говорил, потому что не хотел тебя в это дело вмешивать. Как-нибудь всё обойдётся.

Я, конечно, опять сделал глупость. Я дал ему возможность предупредить её, что он её не выдал, если она о чём-то знала. Правда, скорее всего она не была замешана в этом, потому что всё разъяснилось и встало по местам. На данном этапе для неё в этой афере с часами уже не оставалось роли. Но зачем оправдываться?

Пани Ландова удивлённо подняла обе брови и сказала:

— Очень приятно.

Потом она посмотрела на меня с явной брезгливостью, но спросила чрезвычайно холодно и вежливо:

— Простите, могу я видеть ваши документы?

Я предоставил ей эту возможность. Она вернула их, сказав «гм».

Потом осмотрелась и тем же тоном спросила:

— Разрешите сесть?

— Не разрешу, — ответил я вежливо. — В моём присутствии каждый должен стоять на одной ноге, а другую держать в воздухе.

Она села, закурила сигарету, а вторую, зажжённую, сунула Кунцу в рот. Потом заглянула в бумаги, я не успел ей помешать.

— Что, уже кончено и подписано?

— Кончено и подписано, — подтвердил я.

Минутку она молча курила, потом посмотрела на Кунца. Он кивнул, подтвердив, что всё это правда.

— Простите, но кто-нибудь из вас двоих может мне толком объяснить, в чём дело?

Я попытался.

— Ну, Вашек вам уже сказал. Здесь он прятал контрабанду, я это выяснил. Ничего не поделаешь.

— А Вашек сознался?

— Да, ему ничего другого не оставалось.

Задумавшись, она стряхнула пепел на пол.

— Да, весёленькая история!

Потом немного помолчала. Все мы молчали.

— Извините, — сказала она, обращаясь ко мне. — Каждый выполняет свой долг. Я нехорошо вела себя по отноше-

нию к вам, но я убеждена, что вы порядочный человек. Поймите меня правильно, я не хочу вам льстить.

Она посмотрела на меня, вид у неё был очень-очень грустный. Потом снова уставилась в пол и только время от времени поглядывала на меня. Говорила она медленно, очевидно подбирая слова, соответствующие моменту.

— Ваше отношение к преступлениям зависит от вашей профессии. Поверьте, я всё понимаю, но постарайтесь и вы понять меня. Есть такие преступления, за которые... Ну, просто можно человека осудить безоговорочно, — преступления против общества. Но бывают и такие, которые хотя и являются нарушением закона, но не приносят конкретного вреда обществу. Они не могут испортить человека безвозвратно. Понимаете меня?

Я её понимал. Она грустно улыбнулась.

— Я, конечно, рассуждаю как женщина, которая, как вы понимаете, крайне заинтересована в благополучном завершении всей этой неприятной истории. Я понимаю, вы на службе, но, может быть, вы, как человек порядочный, могли бы в данном случае разделить мою точку зрения...

Очевидно, вид у меня был такой, какой бывает у очень усталого человека, от которого хотят, чтобы он во что бы то ни стало совершил чудо.

Она изменила направление своего взгляда. Теперь смотрела в верхний угол комнаты.

— Я не хочу, чтобы вы думали... Я не предлагаю вам материальную компенсацию за ваше, скажем, мнение, я не хочу вас оскорблять и не предлагаю какую-либо другую компенсацию, но теперь, — она посмотрела мне прямо в глаза, — если мы поймём друг друга, моя благодарность будет выражаться в той форме, которую вы сочтёте наиболее приемлемой.

Сначала, конечно, покраснел Кунц, потому что мужчине ужасно неприятно видеть, как женщина делает что-то, чего бы при других обстоятельствах никогда в жизни не сделала. И делает это из-за него. Потом покраснел я и до сих пор не знаю, то ли от злости, то ли из жалости, что не всегда можно

подарить то, что у меня хотят купить. И, наконец, покраснела она, потому что поняла: всё, что она сделала, сделала напрасно.

Мне не в первый раз предлагали деньги или постель, наивно полагая, будто я что-то сделаю, чего бы иначе не сделал. И до сих пор я, не задумываясь, указывал заинтересованному лицу на дверь и напоминал о возможности неприятных последствий за такое предложение. Наверное, я и теперь должен был поступить так же. Только какой-то умный человек написал, что у каждой минуты свой собственный закон. Думайте, что хотите, но я изменил своему правилу. Я решил, что форма, в которой было сделано предложение, ничего не меняет по существу, но, очевидно, оказывает известное влияние на форму отказа. И потом, знаете, если один человек настолько любит другого, что готов ради него пожертвовать всем, это всегда заставляет порядочного человека быть снисходительнее.

Я ответил ей так:

— Извините, но я очень медленно соображаю, поэтому будем считать, что я ничего не понял. Что касается моих убеждений, то в соответствии с ними имущество и права общества в моих глазах столь же неприкосновенны, как и имущество и права отдельного человека. И хотя вы не разделяете мою точку зрения, в данном случае она оказывается решающей.

Она пожала плечами. Пожимать плечами можно по-разному. Это может быть выражением оскорбления, иронии или покорности судьбе. Сейчас был последний вариант. Я за-сунул подписанный протокол в карман.

— Мы можем опоздать на поезд, — говорю Кунцу. — Я, к сожалению, должен буду одолжить твой мотоцикл.

Ничего другого мне не оставалось.

— Ты сядешь сзади. Если ты будешь вертеться, то мы оба слетим и разобьёмся на шоссе, но ты рискуешь больше, так что веди себя хорошо. А пани Ландовой придётся ночевать в деревне, потому что в замке никто не останется, а ключи я сдам в Праге. Свою работу она закончит, когда сюда приедет управляющий, может быть опять доктор Вегрихт.

Она, ни слова не говоря, поднялась и направилась к двери. Я сложил в чемоданчик Кунца его вещи, запер его ключами всё, что можно запереть, и набросил ему на плечи плащ, чтобы не было видно наручников.

Пани Ландова ждала с вещами в подворотне. Я вывел мотоцикл и запер главные ворота. Чемоданчик Кунца и свою папку привязал к багажнику, завёл мотор. Кунц беспомощно поглядывал на меня.

— Садись сзади и держись за ручку, — сказал я. — Прощайте, пани Вера.

— Прощай, — ответила она. Не думаю, чтобы это относилось ко мне, потому что она ещё раз сказала «прощай».

Старуха Жачкова вышла из своего домика.

— Мы едем в Прагу, — говорю.

Она без интереса кивнула и открыла нам ворота. Я включил свет, и мы поехали.

В Будейовицы мы приехали к поезду. Мотоцикл я сдал в отделение милиции на вокзале, чтобы его там на время спрятали. Поезд был почти пустой, так что мне не пришлось требовать отдельное купе.

Мы сидели с Кунцем напротив друг друга у окна, курили и молчали.

Уже подъезжая к Праге, я внезапно спросил Кунца:

— Знаешь Франтишека Местека?

— Не знаю. Кто это?

Мы снова молчали.

На вокзале я взял такси и отвёз Кунца к нам. Потом пошёл домой, побрился, умылся, на сон у меня уже не оставалось времени. В семь часов утра я был у Бахтика в кабинете.

XIV

Бахтик восседал за столом, как языческий бог. Он, видимо, ждал, что я начну ему докладывать. Я даже и не подумал. На столе уже были приготовлены папочка с надписью «Стройконструкт», сумка с часами, рядом стояла коробка из-под белья, точнее с бельём, потому что оно всё ещё было там. С бумаги и с клейкой ленты были взяты отпечатки пальцев, рядом лежала дактилоскопическая экспертиза. Точно восемь

отпечатков доктора Вегрихта. Остальные мои, уж я-то их не спутаю. Лента, конечно, была та самая, склеенная из трёх кусков.

Прежде чем Бахтик начал говорить, я попросил его разрешить мне допросить доктора Вегрихта. Он заявил, что не возражает, хотя и не понимает зачем, и отдал приказ по телефону. Я поблагодарил его. Уходя, положил перед ним на стол подписанное Кунцем признание и, не дожидаясь, когда он прочтёт, ушёл.

Доктор Вегрихт являл собой весьма печальное зрелище. Он был без галстука, щёки заросли седой щетиной, из ботинок у него вынули шнурки. Он сидел на стуле в своём зелёном камзолчике и грустно озирался по сторонам. Очевидно, он так и провёл всю ночь.

— Добрый день, пан доктор, — сказал я, когда за мной захлопнулась дверь.

Он не ответил и бессмысленно посмотрел на меня. Видимо, он дошёл до точки. Я вытащил из кармана плоскую фляжку, купленную специально для этой цели, и сказал:

— Выпейте!

Он отвернулся, но я поднёс ему металлический стаканчик и заставил выпить.

Теперь оба мы сидели и смотрели друг на друга. Когда мне это надоело, я потрепал его по плечу.

— Ну, ничего страшного не случилось. Как-нибудь утрясётся. Расскажите всё, как было. Я вам верю.

— Я ничего не знаю, — пробормотал он. — Я не знаю, как это туда попало, ведь коробка-то была не моя, ведь вы же знаете, ведь вы же там были.

Он повторил это раза три, потом плечи у него вздрогнули, он заплакал.

— Я знаю, я вам верю, — утешал я его.

— Это ничего не изменит, — всхлипывал доктор. — Ведь вам тоже никто не поверит.

— Поверят. Видите ли, я здесь работаю.

Он ошарашенно посмотрел на меня и перестал всхлипывать. Я вытащил у него из кармана носовой платок и вытер ему нос. Глаза он вытер сам.

— Всё объяснится, пан доктор, — снова сказал я, — только успокойтесь и расскажите мне всё, что знаете.

— Что делать, если я вообще ничего не знаю, — заговорил он спокойнее. — В Праге меня остановили, попросили выйти из машины, осмотрели её и из той коробки с бельём вытащили какую-то сумку, а в ней были какие-то часы. Потом сказали: «Ага, вот они, хорошенькое дело!» За руль сел какой-то милиционер, и мы поехали. А здесь мне заявили, что всё совершенно ясно и что не имеет смысла заператься.

— А почему вы им не объяснили, что эти вещи не ваши?

Он помолчал и стал всхлипывать снова.

— Вас чем-нибудь обидели?

— Да нет, ничего мне не сделали, но я очень боюсь.

— А чего вам бояться?

— Потому что мне никто не поверит. Когда в сорок пятом меня забрали, мне тоже никто не верил. Теперь уж я здесь во второй раз, теперь уж конец, теперь я ни за что не выдержу.

Он был на грани истерики, а я не понимал почему. Когда он упомянул сорок пятый год, я вспомнил, что после революции у него тоже были какие-то неприятности, и начал прощупывать почву. Очень осторожно, чтобы он снова не расплакался.

Он утверждал, что во время войны у него забрали отца, пенсионера-железнодорожника, за то, что тот кого-то спрятал. Отца отвезли в концлагерь. А самого Вегрихта в гестапо страшно избили и потом обещали отпустить, потому что против него не было никаких доказательств, но дальнейшая судьба его отца зависела от того, насколько сын сумеет доказать своё хорошее отношение к рейху. Это было в 1944 году. Когда Вегрихта выпустили, он не придумал ничего лучшего, как прочесть лекцию об арийской расе. Конечно, все сразу от него отвернулись, а он боялся кому-либо что-то объяснять, потому что в гестапо ему запретили говорить об отце.

Вскоре он получил урну с пеплом отца, после чего у него был нервный припадок. Очевидно, всё это было очередной «шуткой» какого-нибудь гестаповца, во время войны это часто случалось. Общественное мнение решило, что коллабора-

ционисту совесть не даёт покоя. В 1945 году, после окончания войны, его снова посадили, на сей раз наши. Тогда, видно, в пылу толком не разобрались в деле и всыпали ему. Через два месяца он предстал перед комиссией, его дело пересмотрели и признали, что он не виновен. Только эти два месяца он как коллаборационист расчищал руины. Видно, натерпелся. Потом он уж не мог вернуться к преподавательской работе, потому что это клеймо на нём осталось.

Всё это доктор мне рассказал, всхлипывая и сморкаясь. Может, это и была правда. Если бы он был виноват, его бы не оправдали и он не смог бы вернуться на государственную службу. С другой стороны, и полное оправдание могло быть связано с какими-то махинациями.

Я решил для ясности посмотреть материал об этом деле. В случае, если Вегрихт сказал правду, нужно было как можно скорее выпустить его, потому что он попал в нашу историю случайно. Этот запуганный, истеричный человек мог здесь свихнуться окончательно и стать ни на что не пригодным. Было бы жаль: ведь он неплохой специалист и очень добросовестный человек, не говоря уже о том, что он просто не виновен.

Конечно, я сам не мог его освободить. Посадил его сюда Бахтик, и выпустить его мог только он. Суд всё равно оправдал бы доктора, но, когда человек находится в таком подавленном состоянии, каждый лишний час тюрьмы по отношению к нему преступление.

— Прошу вас, — вздыхал он, — если есть на свете какая-то справедливость, выпустите меня! Вы не знаете, как трудно, когда человеку никто не верит, когда люди от вас отворачиваются, плюют на вас. Я во второй раз этого не переживу.

Я попрощался с ним.

Решения комиссий хранятся в архивах, если их не сжигают. К счастью, дело Вегрихта нашли очень скоро. Его отпустили тогда с извинениями; было ясно, что он не виноват. Уголовный преступник Бернбах, который навёл его на мысль об этой лекции и которого позднее судили и повесили, помнил о том случае и подтвердил на допросе. Это и спасло док-

тора, потому что иначе бы ему никто не поверил — лекцию-то он прочитал.

Доктора Вегрихта нужно было освободить немедленно. Я пошёл к Бахтику.

У Бахтика было плохое настроение, и он недовольно поглядывал на меня.

— Почему ты себе позволяешь какую-то анархию? — начал он. — Нечего предпринимать что-то по собственной инициативе.

Я хотел ответить, что это не собственная инициатива, потому что дело с часами поручили мне, но Бахтик не дал мне и рта раскрыть.

— Ты был в отпуске, а я тебе приказал вернуться. Это всё.

— Я и вернулся.

— Ну конечно, само собой, но ты постарался сделать из меня осла и подставить мне ножку. Ты бы мог рассказать по телефону о том, что обнаружил, и всё бы развивалось нормальным путём.

— Послушай, не стану же я тебе по телефону из трактира обо всём рассказывать, а потом ты меня ни о чём не спрашивал. Кроме того, что ты подразумеваешь под нормальным путём?

В действительности я себе представлял, что он имеет в виду. Есть люди, которые стараются, чтобы всё делалось только с их ведома и согласия, они очень болезненно реагируют на то, что касается их служебного положения, хотя им совершенно наплевать на других.

— Каким нормальным путём? — повторил Бахтик и пошёл... — Я не считаю, что нормальный путь — это пригнаться сюда ночью с каким-то парнем и с бумагой, когда тебе хорошо известно, что я задержал преступника. Если у тебя были какие-то соображения, ты должен был сказать мне об этом, а я бы решил, как поступить.

Мне хотелось сказать ему, что в детстве у меня не было бонны, а теперь и подавно в ней не нуждаюсь, но я смолчал и сказал только:

— Да, но преступник-то не доктор Вегрихт, а Кунц.

— Я и без тебя вижу, — оскорбился он, — что Кунц признался, но это ещё ничего не значит. У него могли быть сообщники.

— Ну, подумай, — отвечаю я, — доктор Вегрихт не причастен ко всей этой истории даже как сообщник, потому что Кунц в моём присутствии и против его воли всучил ему эту коробку, а я её сам завернул и залепил лентой. Этой вот лентой. Видишь, на ней отпечатки моих пальцев, ты их, конечно, не знаешь. Его отпечатки появились потому, что клей ещё не подсох, когда он клал коробку в машину.

— Они могли сговориться!

— Тогда они оба идиоты от рождения.

Он, видимо, согласился, потому что ничего не ответил и только с недовольным видом перебирал бумаги на столе.

— Доктора Вегрихта нужно освободить, — начал я.

— Кто это сказал? — разозлился Бахтик.

— Я говорю, потому что он не виноват.

— Это ещё не доказано.

— Юридически это доказано, а психологически из доказанного вытекает.

— Чего же он дурит?

— Потому что это больной, истеричный человек.

— Так ему не вредно будет здесь немного поотвыкнуть от своих истерик, — величественно решил Бахтик.

Меня всё это начинало злить.

— От истерик не отвыкнешь, это болезнь нервов, а не плохая привычка и, уж конечно, не преступление. Лечат от истерик покоем, а не тюрьмой. Это ясно даже повитухе.

— Не учи меня, — оскорбился Бахтик, — ты здесь не затем, чтобы меня учить!

Видимо, он был раздражён до предела, и разговаривать с ним было трудно.

— Послушай, Вильда, — говорю я, — не злись, я не хотел тебя задеть. Произошла ошибка, и я хочу, чтобы ты её исправил. Не надо лишний раз обижать человека.

— Никто его не обижает! Никто ему ничего не делает, и нечего нянчиться с каждым буржуазным элементом!

— Послушай, если он сын железнодорожника и преподаватель гимназии, так это ещё не буржуазный элемент. И кроме того, это добросовестный человек и хороший специалист, который делает полезную работу. Незачем его понапрасну травмировать, его и так достаточно травмировали; это несчастный и невезучий человек, который ещё к тому же из-за своего чрезмерного усердия и запуганности никому не симпатичен, как мне, так и тебе. Но сейчас дело не в личных симпатиях и антипатиях, а в справедливости.

— Так ты считаешь, — ошетинился Бахтик, — что я действую не по справедливости, а только в своих интересах? Я просто не уверен, что этот человек не впутан в историю с часами, и считаю, что его лучше не выпускать, пока не закончится следствие. Ничего с ним не случится. И будь поосторожней со своими выпадами, а то обожжёшься.

— Здесь и выяснять нечего, — начал я опять, — этот человек ни в чём не виноват, а остальное можно выяснить, когда он будет на свободе, раз ты не веришь. У него такое состояние, что тюрьма его окончательно доконает.

— Это мещанский гуманизм, вот это что, — улыбнулся Бахтик, но как-то криво.

Я окончательно вспылал.

— Ты считаешь, что хорошее отношение к людям — это мещанский гуманизм! Мещанский гуманизм — это когда защищают подлеца и сочувствуют виновному. Это человек, это гражданин, понимаешь? Человека надо выпустить, иначе он здесь загнётся, мы не имеем права доводить его до такого состояния. Этого требуют здравый смысл и элементарная человечность, и закон тоже. Закон обязывает считать человека невиновным, пока нет доказательств его виновности, и не наоборот... и...

— Хватит, — взорвался Бахтик и стукнул по столу кулаком, — я уже решил, и мелкая философия меня не интересует. У меня нет времени лезть во всю эту грязь!

— Иди ты!.. — заорал я. Орать не стоило, но я уже не мог удержаться. Я и так долго терпел. — У него нет времени пачкаться! — понёс я. — Это его задерживает! Не очень это эффектно, да? А потом нужно шевелить мозгами! Куда там —

люди! Только великие решения — вот что ему важно. Катись со своим наполеоновским комплексом в болото, идиот, подонок... ты... от тебя зависит решать, кто имеет право на справедливость, а кто нет. Ты что о себе воображаешь? Думаешь, ты лучше других? Кто тебя посадил на этот стул! История, да? Что смотришь, это правда, и можешь лопнуть, если хочешь!

Я кричал довольно громко, хотя обычно этого никогда не делаю. Он выскочил из-за стола, то бледнел, то краснел, то зеленел. Когда я подошёл к дверям, он прохрипел:

— Вы за это ответите, товарищ младший лейтенант!

Я еле сдержался, чтобы не хлопнуть дверь. А потом отправился домой, влез в постель с сознанием, что ещё раз наверняка здорово себя зарекомендовал.

XV

Утром настроение у меня было паршивое. Вам это понятно. Человек просыпается не сразу, а как бы в два приёма. Сначала он открывает глаза и видит: вокруг него что-то происходит, вспомнит вчерашнее и подумает о том, что будет сегодня, только во время второго этапа из всего этого вырисовывается нечто такое, в зависимости от чего он встанет с постели с плохим или хорошим настроением.

Если накануне вы сделали какую-то глупость, то пробуждение бывает не особенно приятным. Как после кутежа, когда вы вспомните, что в девять вечера встретили хорошего приятеля и пошли с ним выпить по чашке кофе, потом — туман, и в половине третьего утра вы уже стояли и разговаривали на Вацлавской площади с каким-то парнем, которого вы в жизни не видели, но который о себе говорил, что он маляр, и темой разговора было переселение человеческой души в корову. Что было до этого? Ясно, что целая день каких-то глупостей, но вы вспоминаете только, как этот самый парень говорил, что он как маляр имеет право на собственное мировоззрение. И тогда вы отчётливо и с ужасом вспоминаете, что вы сделали и что теперь будет.

Это «что теперь будет» испортило мне утро на сей раз. Было ясно, что Бахтик ничего не забудет, что его пересказ

нашего вчерашнего спора в соответствующих инстанциях не сделает мне чести. И, по всей вероятности, ему поверят, ведь я не могу отрицать, что на него орал.

Словом, настроение у меня было паршивое. Первые мысли мои были очень примитивными: сесть, написать заявление об увольнении по собственному желанию и подать его начальству. Мне казалось, что это единственный выход. Человек любой профессии, говорил я себе, подчиняется определённым порядкам. И если он не сумеет им подчиниться, значит он для этой работы не подходит. Всё довольно просто.

Минут пятнадцать я твёрдо верил, что уйду в гражданку. Не из-за оскорблённого самолюбия, а потому что я не го-жусь для этой работы. Я уже представил себе, как всё будет здорово. Отработаю свои восемь часов... не будет Бахтика, не будет физической подготовки, по вечерам я буду заниматься экономикой, потому что меня всегда больше интересовало, зачем делают вещи, чем, как их делают.

Я закурил сигарету, закинул ногу за ногу. У меня было такое же ощущение, как в детстве, когда удирал с уроков. Ощущение полной и абсолютной свободы, ощущение, что всё, что могло свершиться, свершилось, а теперь мне море по колено.

Но что-то омрачало мою радость. Ведь всего этого могло и не быть, если бы я соблюдал все правила. Только это было сверх моих сил. Всё-таки сохранять спокойствие, когда тебя довели до белого каления, — это требует особой тренировки. Правда, иногда выдержка зависит от определённого количества равнодушия, рыбьей крови. Мудрый принцип «делай, что тебе говорят, говори, что от тебя хотят услышать, и будешь жить без забот» — всегда был мне противен, хотя это своего рода рецепт спокойной жизни. Не менее противно превращать собственную развязность в достоинство. Это мало кому понравится. Мне бы тоже не понравилось.

В общем, как пишут в книгах, пришёл я к выводу, что допустил ошибку. Только всё-таки я был уверен, что во вчерашнем скандале я был прав, то есть я был не в том прав, что орал, а то, из-за чего я орал, было справедливым, так что мне не хотелось окончательно раскаиваться. Вот и разберитесь!

То, что я вчера сделал, — сделал зря, это было не очень умно. Но ведь должны быть люди, которые говорят неприятные вещи! Потом бывает скандал. Говорить людям правду в глаза не всегда приятно. К добру это не ведёт. Если думаете, что я преувеличиваю, попробуйте сами.

От этих размышлений мне стало совсем скверно, а потом я пошёл пожинать плоды своего боя за правду.

На столе лежала записка, в которой было сказано, что я немедленно должен явиться к майору Штупру, а дежурный ещё лично сообщил мне об этом. Бахтик уже развил бурную деятельность.

Чтобы вам было ясно, майор Штупр — большое начальство. Он неплохой человек, но просто человек, каких много, а у Бахтика, конечно, было преимущество, потому что он лично докладывал о случившемся.

К майору Штупру я не пошёл. Я понимал, что меня за это не похвалят, но я был в таком состоянии, что сказал бы лишнее или вообще бы ничего не сказал. И то и другое одинаково глупо. Мне не хотелось таскаться по кабинетам и рассказывать, как меня обижают и что я хотел только добра, и тем самым давать остальным возможность позлословить. Если человек сделает что-то, чего делать нельзя, ему всегда чудится, будто над ним остальные смеются, хотя чаще всего это не так. Я пошёл к Старикау.

Он сидел в кресле в кругу семейства, был очень болен и так плохо выглядел, что я решил ему ничего не рассказывать. Поговорить о желудке и поскорее смотать удочки. Только Старика не проведёшь. Он с минуту послушал мои соболезнования по поводу его здоровья и попросил, чтобы я не навёл тень на плетень и говорил, что случилось. Ну, я и сказал. Сказал всё, без рассуждений. Пусть сам разберётся. Видно, разобрался, потому что минуту думал, а потом и говорит:

— Ну и дурень же ты, верно?

Я от чистого сердца подтвердил.

— Угу, — кивнул Старик. — Что посеешь, то и пожнёшь. Что же ты собираешься теперь делать?

Я сказал, что пойду к майору Штупру. Старик отклонил этот вариант.

— Нет. Ты там поругаешься или будешь молчать. Знаешь что, я туда сам пойду, так будет лучше.

— Да что вы, вы же больны!

— А почему бы нет? — заворчал Старик. — Поймай такси! Анечка, принеси костюм!

Он не дал себя переубедить. Я помог ему влезть в такси, вылезти тоже. Вид у него был ужасный. Лучше бы было дать себе по морде, чем тревожить его.

Я ждал внизу в его кабинете. Вернулся Старик через полчаса и выглядел ещё хуже, чем раньше. Плюхнулся на стул, и я уже хотел бежать за врачом, потому что боялся, что ему будет совсем плохо. Но он не умер, похрипел с минуту, а потом говорит:

— Можешь туда не ходить. Всё в порядке.

— Спасибо, — говорю. На языке у меня вертелись слова благодарности, но больше я ничего не сказал.

— Перед Бахтиком ты должен будешь извиниться. Я не собираюсь рассуждать о предмете спора, но Бахтик был временно твоим начальником, а ты вёл себя неподобающим образом. Орал на него?

— Орал.

— Сказал ему, что он дурак и подонок?

— Сказал.

— Так извинись и скажи ему, что он не дурак и не подонок. В какой это будет форме, мне всё равно, но извиниться ты обязан. Пошли его сюда и подожди в коридоре.

— Но...

— Цыц! — сказал Старик.

О чём они говорили десять минут с Бахтиком, этого мне, наверное, никогда не узнать, я не подслушивал, но, когда меня позвали в кабинет, вид у Бахтика был бледный.

Я сказал ему, что сожалею о своих словах и о тоне, в котором я по горячности говорил с ним и т. п. и т. д.

Бахтик ответил мне ненавидящим взглядом. Только когда Старик угрожающе заворчал, Бахтик сказал, что он не чувствует себя оскорблённым и считает, что инцидент исчерпан. Он говорил мне «вы», хотя я говорил ему «ты», ну и шут с ним!

Старик приказал мне продолжать расследовать дело до конца и информировать обо всём товарища лейтенанта Бахтика, на что Бахтик ответил: «Будет исполнено», хотя, собственно, отвечать-то должен был я. И, наконец, когда мы посадили Старика в такси, он сказал, что доктора Вегрихта сегодня же освободят, потому что, как считает товарищ лейтенант Бахтик, нет причин его задерживать. Потом через силу улыбнулся и поехал домой хворать, а я бы, ей-богу, лучше бы болел вместо него, если бы даже у него была белая горячка. Ну, конечно, это было невозможно. Я пошёл к себе в кабинет и подвёл на бумаге баланс.

Итак: часы перевозил через границу, очевидно, Франтишек Местек, и скорее всего только он, потому что это были небольшие партии, а также потому, что с его смертью вся система перестала действовать. Кто его убил или как он погиб — непонятно.

Главным организатором, вероятно, был человек, который представился Кунцу как Пецольд. Мы не знаем о нём ничего, кроме описания, данного Кунцем. Вероятно, и Кунц о нём ничего больше не знает.

Кунц прятал эти часы в Ципрбурге и небольшими партиями в свёртках сплавлял неизвестным людям. Этих неизвестных было довольно много, человек восемь-десять, которые могли, но не должны были знать друг о друге. Скорее всего не знали, судя по тому, как хорошо всё было организовано у пана Пецольда в остальных звеньях. Кунца Пецольд, очевидно, выбрал чисто случайно, потому что прямая связь с перекупщиками была слишком рискованной.

Доктор Вегрихт не имел к этому никакого отношения. Предположение, что Кунц посвятил его в свои дела, следует отклонить, как нелогичное.

Пани Ландова. Судя по всему, ей в этой истории делать было нечего. Но её поведение в ту «варфоломеевскую ночь» в Ципрбурге говорит не в её пользу. Если бы она просто делала копии, то не хваталась бы так легко за оружие, а потом бы с явным облегчением не доверялась первому встречному, в гражданской порядочности которого могла усомниться.

Видно, ей действительно нужно было, чтобы кто-то провёз в Прагу что-то, чего она не хотела бы везти сама.

О своей просьбе в тот последний вечер она, конечно, не вспоминала. Я тоже не вспоминал, потому что тогда мне не хотелось настраивать её против себя, а вспомнить я мог всегда.

Что касается Жачека, так это мелкий негодяй. С ним было покончено. Я написал рапорт о его деятельности и подал куда следует.

Словом, хотя у меня и создалось какое-то общее представление об этом деле, я не мог похвастаться блестящими результатами. Контрабанду приостановил не я, а кто-то или что-то, что лишило жизни Франтишека Местека, а из всех соучастников под замком у меня сидит только Кунц, который не знает никого другого ни сверху, ни снизу. Я полагал, что его заявление в основном правдиво. Более опасны были те, остальные, а они на свободе. На свободе они будут до тех пор, пока я что-нибудь не придумаю, и они могут совершить ещё кучу преступлений. Хорошего в этом мало. Нужно было объяснить смерть Франтишека Местека, найти Пецоляда; причём одно могло послужить ключом для раскрытия другого и наоборот; выяснить, с кем связан Пецольд, если мы только его поймаем. И совершенно необходимо объяснить поведение пани Ландовой, которая, однако, может не иметь к этой истории никакого отношения. Так что дела ещё хватало.

Всё, что можно было выяснить о смерти Местека, уже выяснено, а если ещё что-то есть, так это выяснит Дечин. О Пецольде мы знаем только то, что нам сказал Кунц. Кроме того, интересно, кто рисовал эти цифры в уборной на вокзале. Нужно было распорядиться, чтобы за уборной следили на тот случай, если бы кому-то снова вздумалось расписывать стены. Это маловероятно, но попробовать можно. Конечно, наше отделение в Будейовицах ужасно обрадуется, а если кто-нибудь проболтается, позор будет на весь угрозыск, ведь тогда разнесётся, что мы следим за сортирами, чтобы воспрепятствовать росписи стен.

Что касается самого пана Пецоляда, то, конечно, его фамилия не Пецольд. Кроме того, мы не знаем, откуда он, так

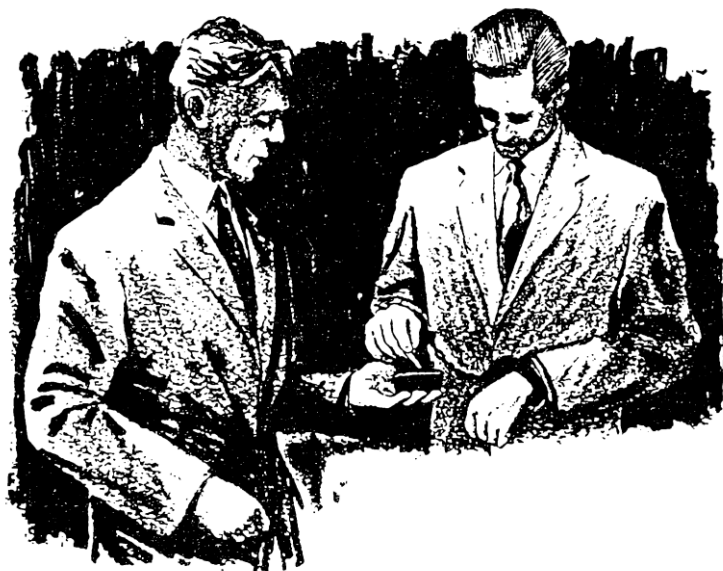
что лучше поискать иголку в стоге сена, чем разыскивать всех Пецольдов в республике. Мелких перекупщиков тоже будет нелегко изловить, потому что новый товар не поступает, и они, очевидно, притаились, как мыши. Пани Ландова нам тоже вряд ли поможет, потому что мы не знаем, как к ней подступиться.

Ну, хорошо, сказал я себе и по примеру всех великих сыщиков взялся за карандаш. Тупым концом я ковырял в носу, а отточенным рисовал поросят. Жаль, что этого нельзя было делать одновременно. Потом, тоже по примеру великих сыщиков, меня осенило, и я попросил по телефону привести Вацлава Кунца.

XVI

Когда привели преступника Кунца и оставили нас одних, я, оставаясь верным нашим приятельским отношениям, предложил ему сигарету.

— Слушай, опиши, пожалуйста, ещё раз этого Пецольда. Только поподробнее. Вспомни хорошенько.



Он подумал. Сказал, что пан Пецольд был среднего роста, приблизительно сто семьдесят сантиметров, худой, чуть сутулый, у него были густые с проседью тёмные волосы, очки без оправы, лицо ничем не примечательное, разве только тем, что передние зубы испорчены, правого верхнего клыка не хватало. По рукам можно было догадаться, что он заядлый курильщик. Руки у него были не слишком холёные, но вряд ли он занимался физической работой. На нём были приличный, очевидно купленный, коричневый в крапинку пиджак и тёмно-коричневые брюки, коричневые полуботинки, рубашка цвета хаки и галстук. На руке висел зелёный плащ. На вид ему было лет пятьдесят.

Работать с умными и внимательными людьми — одно удовольствие, немногие подробно запоминают внешность других людей или не путаются в описании. Часто, когда я прошу описать чью-нибудь внешность, я вспоминаю историю о девушке, которая попала, как говорят, в беду. Когда её допрашивали в том учреждении, куда она пришла жаловаться, кто же этот господин или хотя бы как он выглядел, она ответила, что он был в шляпе.

Кунц видел Пецольда всего два раза, но запомнил его удивительно хорошо.

Я спросил:

— В первый раз он сам тебе дал деньги?

— Да.

— А как он посылал их потом?

— По почте.

— Чьё имя было указано на переводе под рубрикой «Отправитель»?

— Он посылал их не переводом, а в обыкновенном конверте, положив в лист чистой бумаги. Адрес был написан на машинке.

— А не слишком ли толстый получался конверт?

— Нет. Он посылал деньги три раза в месяц по пятьсот крон.

— У тебя есть эти конверты?

— Ну что ты!

— Прошу тебя, вспомни хорошенько: какая печать была на конверте?

Он понимающе улыбнулся.

— Печать вокзальной почты в Будейовицах. Меня это тоже интересовало.

— На всех конвертах?

— Да.

— А теперь ещё: когда Пецольд был с тобой в поезде, он показывал проводнику обыкновенный билет?

— Да.

Это было почти всё, что мне нужно было знать. Я хотел отпустить Кунца, но, видно, и ему хотелось меня о чём-то спросить.

— Сколько я за это дело получу? — выдавил он из себя.

Я не знал, как лучше ответить ему, надо было всё обдумать и взвесить.

— Немного, — говорю, — у тебя есть разные смягчающие вину обстоятельства. Какое-то время тебе придётся отсидеть, но если будешь там вести себя примерно, тебе сократят срок. А как только тебя выпустят, заходи ко мне. Тебе нужно найти какую-то приличную работу, потому что, если доктор Вегрихт увидит тебя в Ципрбурге, его хватит удар.

— Его выпустили?

— Доктора? Ага.

Он поблагодарил меня, и его увели.

Так что мы имеем? Проницательный пан Пецольд, вероятно, не хотел посылать деньги через своих сообщников, потому что наличные есть наличные и с ними всегда неприятности. Вероятно, он отправлял их сам из Будейовиц с вокзала и тогда же заглядывал в уборную. Цифры появлялись каждую неделю, так что он каждую неделю бывал в Будейовицах. Непохоже на то, чтобы он там жил постоянно, потому что до сих пор все проданные часы были обнаружены только в Праге. Очень правдоподобно и почти вероятно, что из Праги в Будейовицы пан Пецольд ездил ежедневно на службу, потому что на этой трассе с ним впервые случайно и встретился Кунц.

Это уже было что-то.

Теперь требовалось выяснить, кто ежедневно ездит из Праги в Будейовицы. Если исключить железнодорожников, потому что они вместе с билетом предъявляют удостоверение, а по служебным делам вообще ездят только по удостоверению, это мог бы быть работник какого-нибудь будейовицкого предприятия, главное управление которого находится в Праге, или какого-нибудь центрального учреждения, у которого в Будейовицах или поблизости есть какой-то объект. Не исключено, что пан Пецольд в Будейовицах только делал пересадку.

Я считал своё предположение логичным, потому что надписи в уборной появлялись в середине недели, значит, в рабочие дни. Оставались только командировки. Это уже было лучше. Приблизительно так, как если бы вам сказали, что ту иголку в сене вы должны искать не по всей Чехии, а только во всех стогах около Бероуна.

Я решил, что нам следует в качестве временного управляющего направить в Ципрбург нашего сотрудника на случай, если бы Пецольд сам лично заехал посмотреть, почему всё застряло. Дальше нужно было установить, какое предприятие или учреждение посылает каждую неделю в Будейовицы панов пецольдов.

И, наконец, мне нужно было поближе познакомиться с пани Ландовой. Всё это пецольдологическое исследование казалось мне очень бесперспективным, так что я отложил его и направился к пани Ландовой. Дорогу я знал, потому что уже однажды там был, когда расспрашивал дворничиху.

Вера Ландова была дома. Мы обменялись приветствиями, как тореадор с быком. Вежливо. Она пригласила меня войти. В квартире у неё было красиво, она удивительно комбинировала современную мебель со старой: здесь барокко, там широкая тахта, готический святой на подставке. Обычное ателье, но если у человека уйма вкуса, то выглядит это здорово. И к тому же всё здесь стоило немалых денег.

— Я считаю своей обязанностью принести вам извинения, — начал я, когда мы сели.



Пани Ландова посмотрела на меня, увидела, что говорю это серьёзно, и сказала, что извинения должны быть взаимными. Больше она об этом не распространялась.

— Я пришёл вам сообщить, — говорю, — что вы вскоре сможете снова продолжить свою работу в Ципрбурге, как только туда направят нового управляющего.

Она промолчала.

— Кунц туда уже не вернётся, — продолжаю я.

— Почему?

— Сидит, — говорю, — потом его будут судить, потом снова будет сидеть. А потом я ему подыщу работу. Быть

управляющим за шесть сотен — это не работа для молодого человека. Когда ему вынесут приговор, можете попросить, чтобы вам разрешили свидание. Если хотите, я замолвлю за вас словечко.

К великому моему удивлению, пани Ландова сказала:

— Не старайтесь. Не стоит. Я к нему не пойду.

— Думаете, что ему потом будет ещё тяжелее?

— Нет, это меня меньше всего беспокоит. Просто я думаю, что нам с ним больше не о чем разговаривать. Ни сейчас, ни потом.

Я не выразил ни согласия, ни удивления. Всем известно, что выводы, к которым приходят женщины, чаще всего сверхнеожиданные.

Она встала, закурила и несколько раз прошлась по комнате.

— Дело не в том, что он попался. Наоборот. Это скорее помеха, потому что оставить человека в беде одного слишком жестоко, но ничего не поделаешь. Вмешиваться я не буду — я ему не верю.

— Он неплохой парень.

— Конечно, неплохой. Если бы он мне обо всём рассказал раньше, мы бы, наверное, вместе придумали, как из этого выпутаться. Но жить рядом, жить со мной и ничего не сказать... вы же видели, чем это кончилось. А ждать, пока он снова что-нибудь выкинет, — этого я не могу себе позволить. Никто не может жить с адской машиной, по крайней мере я не могу. Я бы не стала вам об этом говорить, но вы сами начали.

Мне показалось, что я должен как-то оправдать Кунца перед этой женщиной.

— Он молчал, потому что думал о вас, — говорю. — Если бы он вам доверился, он бы сделал вас соучастницей.

Она недовольно посмотрела на меня.

— Я не разбираюсь в юриспруденции.

— Пардон.

— Я женщина, если вы ещё этого не поняли, а редкая женщина простит недоверие к себе. Вот.

— Это вопрос престижа?

— Немного. И немного человечности... Извините.

Из шкафчика в углу она вынула коньяк и две рюмки.

— С вашего разрешения я выпью, потому что вы мне действуете на нервы. Не думаю, что вы пришли сюда только затем, чтобы решить вопросы моей интимной жизни. Так говорите, зачем вы пришли. Кстати, выпейте тоже, надеюсь, вы не будете считать это взяткой.

Я решил, что не буду, ведь это был французский коньяк. По крайней мере на нём была французская этикетка. Я, правда, знаю некоторых людей, которые могут где-нибудь раздобыть бутылку из-под «Марии Бриссард» и наливают в неё домашнюю наливку, но на пани Ландову это непохоже.

— Я пришёл затем, — сказал я, когда мы допили, — чтобы спросить вас, как обстоят дела с этими копиями.

— Это вас лично интересует или это ваша служебная обязанность? В последнем случае я должна заранее посоветоваться с юристом.

— Не затрудняйте его. Я не собираюсь вас из-за этого преследовать. Но всё, что касается Ципрбурга, я хочу знать до последнего пунктика. Расценивайте это как профессиональный порок.

— Пусть так. Что именно вы хотите знать от меня?

— Могли бы вы показать копии, которые вы делали раньше?

Она встала и сияла со стены маленькую картину в тёмной рамке.

— Пожалуйста.

Это был натюрморт, очевидно, голландской школы, с лимоном, оловянной тарелкой и стаканом вина.

— Внизу дата, когда я окончила копию. Моя подпись и пометка «*сору*», — обратила моё внимание пани Ландова. — Подделок я не делаю, если вас это интересует. Хотите, я дам вам лупу, чтобы вы могли прочесть.

Я хорошо видел и без лупы.

— Простите, есть у вас ещё что-нибудь?

Она принесла мне ещё две картины, которые висели на стенах.

На одной был изображён какой-то пейзаж, на другой крестьянин с трубкой.

— Вы специализируетесь по голландцам?

— Более или менее. Прикажете мне копировать современных мазил?

Я вернул ей все три экземпляра, не сказав ни слова.

— Вы довольны?

— Да. И не сердитесь.

— Нет, — сказала она, пожав плечами, и впервые за весь разговор улыбнулась. — Всякое обследование я рассматриваю как стихийное бедствие. Я очень благодарна вам за то, что вы не перевернули мою квартиру вверх дном и не стали прокалывать кресло саблей. Хотя сабли сейчас не в моде, в ваших кругах, кажется, принято носить твёрдые шляпы, да?

— Да, чтобы защитить голову от ударов. Извините, ещё один, совсем не служебный вопрос. Каким образом вы добиваетесь того, чтобы на ваших копиях так трескался лак?

— Производственная тайна, хотя это в общем-то пустяки. Но мне кажется, что, когда копия такого старого произведения покрыта свежим лаком, это нарушает стиль. Словом, это чуть-чуть ребячество.

— А если предположить, что кто-то изготовил совершенную подделку? Можно её продать?

— Как подделку вряд ли; как копию, вероятно, можно, но это бы себя не оправдало. Старый и дорогой оригинал сейчас без экспертизы вряд ли кто купит, разве какой-нибудь простачок, а тот бы заплатил самое большее две сотни, потому что за эти деньги он может купить «Градчаны» или «Прелестную цыганку». На этом трудно разбогатеть.

Она повесила картины на место, и я поднялся.

— Могу я вам быть чем-нибудь полезен?

— Лучше не надо, — ответила она вежливо.

Когда я взял шляпу — мягкую, твёрдых сейчас уже не носят, — я спросил:

— Вы знакомы с Франтишекком Местеком?

— С кем?

— С Франтишекком Местеком из Дечина. Если вы его знаете, так я только хотел вам сказать, что он попался.

— Не знаю, — ответила она.

— Тем лучше, прощайте.

Если меня не обмануло зрение, она была очень бледной, когда я уходил, и совершенно непроизвольно ухватилась за занавес, разделявший ателье.

XVII

Называя фамилию Местека, я действовал вслепую. У меня не было на это особых причин, но я не знал, почему бы мне и не спросить. Её реакция меня удивила. Если вы кого-нибудь захватите врасплох, у вас всегда есть преимущество, потому что вы наблюдаете и ожидаете эффекта, а ваш собеседник должен замаскировать возникшую реакцию. Когда я уходил, пани Ландова была рада моему уходу. Она облегчённо вздохнула и не следила за собой так напряжённо, но дело не в этом. То, как она отнеслась к Кунцу, лишней раз доказывало, что к часам она не имеет никакого отношения.

Как я и предполагал раньше, эта женщина всегда знала, чего хочет. Пока Кунц был ей дорог, она делала для него всё, что могла. Сейчас ей на него наплевать. Трудно осуждать её за это. Поддерживать отношения только из-за сентиментальности — это всё равно, что держать в квартире покойника. То и другое достаточно эффектно, но рано или поздно с этим нужно расстаться.

И всё-таки она знала о Франтишке Местеке. И не от Кунца. Не только потому, что Кунц ей ничего не сказал, но и потому, что Кунц сам о нём ничего не знал. А откуда она его знала — вот это-то как раз меня и интересовало. Франтишек Местек был контрабандистом. Весьма вероятно, что он перевозил не только часы. А потом обычно контрабандисты не только ввозят товар, но и вывозят за границу. Всяких комбинаций могло бы быть немало. Шпионаж я сразу исключил. Потому что для переправки секретных материалов существуют другие пути. И ещё потому, что, если бы человек, занимающийся шпионажем, стал обращать на себя внимание из-за каких-то часов, его хозяева бы с ним быстро расправились.

Что могло быть предметом контрабандного вывоза? Вряд ли копии, которые я видел. Ведь на них было точно указано, что это копии, так что никто не ставит их экспортировать как подделки. Кроме того, что пани Ландова говорила о невыгодности их продажи, было, конечно, правдой.

Припереть её к стенке и требовать, чтобы она сказала, откуда знает Местека, не имело смысла. Не скажет. Будет запираться. Ведь она не сумасшедшая. Её замешательство — это след, а не доказательство.

А если бы мы ей как-то и доказали, что она знает Местека, и она бы это подтвердила, мы ничего бы не выиграли, потому что знать кого-то — это ещё не преступление, даже если этот знакомый случайно оказался в реке. Всё не так-то просто. В нашем деле всё должно быть основано на доводах здравого разума и фактах.

Я приказал, чтобы за Верой Ландовой следили, хотя и не особенно рассчитывал на успех.

А теперь мне уже действительно ничего другого не оставалось, кроме как начать разыскивать пана Пецоляда. Я занялся этим основательно. И так же основательно погорел. Я позвонил по телефону в Будейовицы и просил выяснить, какие предприятия имеют главное управление в Праге. Мне тут же сообщили, что почти все местные предприятия, за исключением коммунальных, подчинены какому-нибудь учреждению в Праге и очень часто, а иногда и регулярно направляют своих сотрудников в Прагу в командировки. В этом я и не сомневался. Прага — красивый город. Мне назвали пять учреждений. Три из них располагали машиной, и их сотрудники никогда не ездили на поезде, правда, четвёртое учреждение было связано с Будейовицами только по телефону и через переписку, в пятом сидел какой-то инженер, у которого были все зубы, но зато голова как колено, ростом он был приблизительно один метр девяносто сантиметров, и всё остальное в соответствии с этим, так что это не мог быть пан Пецольд, даже при всём моем желании. Больше я ничего не узнал.

Теперь я снова не мог сообразить, что мне делать дальше. До сих пор я всё время что-то делал, хоть и не знал, чем

всё кончится. А теперь мне уже ничего не приходило в голову. Между прочим, известно: если уж человеку ничего не приходит в голову, хоть о стенку головой бейся, не поможет. Оставалось только ждать, чем дело кончится. Но всё быстро кончается только в кино, а не в жизни. В кино бы люди начали требовать, чтобы им вернули деньги за билеты.

Мне же ничего другого не оставалось, как покориться судьбе. Но и сидеть в такие минуты дома — выше моих сил. Голова настолько была забита паном Пецольдом, что ни о чём другом я бы всё равно не мог думать и говорить, так что оставалось одно — культурно развлекаться. Я пошёл в театр. Но в театр не попал, потому что там был выходной день. Не станут же люди из-за меня работать без выходного. У каждого раз в неделю должен быть выходной.

Я зашёл в проходную. Там сидел старик в зелёном мундире и в зелёных перчатках. Читал газету и выглядел ужасно благопристойно.

— Добрый день, — говорю.

— Добрый день, — ответил старичок и посмотрел на меня. — Сегодня спектакля нет.

— Я знаю, — говорю, — сегодня выходной.

— Да, да, — подтвердил старичок, — сегодня выходной, — и снова уткнулся в газету.

Мне было жаль, что я его побеспокоил.

— Не хотите закурить?

— Не хочу, — сказал старичок. — Я курю трубку, но могу предложить вам сигарету, если хотите.

— Спасибо, не хочу.

— А чего вы хотите?

— Я хочу узнать, у вас всегда выходной день в понедельник? — спросил я наобум.

— Да, всегда, я уже здесь тридцать лет. Каждый понедельник. Только во время войны, когда театр был закрыт, выходной был каждый день.

— А что, во всех театрах выходной в понедельник?

Это был уже идиотский вопрос, но я иногда никак не могу прервать беседу с симпатичным человеком.

— Большой частью да, но не везде. Иногда и в другие дни.

— Ну да. А не посоветуете мне, где бы я мог убить вечер? Мне неохота идти домой.

— Не знаю, — сказал старичок и вытащил из кармана трубку, — откуда мне знать! Я хожу напротив на чашку кофе.

Я тоже пошёл напротив на чашку кофе. Почему не пойти? Кофе был отвратительный, наверное, спитой. Я не шучу. Вы часто пьёте такой кофе, только не знаете об этом. И к тому же там играли на саксе. А это уже было слишком. Какой-то гражданин выл под эту музыку «Влтава, Влтава», а я сидел под табличкой, которая гласила, что пьяным и несовершеннолетним спиртных напитков не подают. Несовершеннолетним я уже не был.

— У вас всегда так гнусно завывают? — спросил я официанта, потому что в голове моей не укладывалось, как люди изо дня в день могут слушать этот вой, даже если их обязывает к этому служба.

— Каждый день, — вздохнул официант. — Посетителям нравится. Я уже от всего этого так вымотался, что в четверг жена даже не может включить радио, у меня бы был шок.

— Почему именно в четверг?

— Ведь в четверг-то выходной.

Господи, я об этом не подумал. Конечно, должен же быть выходной. Это объяснение о выходном я получил уже два раза подряд и, наконец, сообразил, что у людей многих профессий выходной бывает не обязательно в воскресенье.

А потом меня осенило: паи Пецольд может работать в Будейовицах, а в Прагу приезжать по выходным дням, потому что он прописан здесь постоянно, а выходным у него может быть любой день недели. Почему бы нет?

На другой день я принялся за дело, теперь у меня была хоть какая-то зацепка. Это называется гипотезой, а ещё это называют швайнфест. Швайнфест — это такое крылатое слово. Жил-был сапожник, у него было четверо детей, а эти дети хотели есть. Сапожник тоже. А когда стало невтерпёж, сапожник велел младшему сынишке вычистить валявшиеся в

углу старые сапоги и поставить их на окно. Мальчик хотел узнать зачем. «Дурачок, — говорит сапожник, — здесь ходит пан каноник. Может быть, пойдёт он сегодня мимо, а посмотрит на наше окно и скажет: “Ага, вот хороший сапожник, я закажу у него сапоги”. Закажет он сапоги, а если они ему понравятся, он закажет ещё одни, на двух парах я заработаю золотой. А на этот золотой мы купим что? Ага, купим маленького поросёночка и будем его кормить, а когда из него вырастет большой боров, мы его зарежем и устроим швайнфест. Пеппик получит пяточок, Карлик — ножки, Тонда — ушко, а Венца, потому что он самый маленький, получит хвостик». А Тонда вылез из угла и говорит: «Я тоже хочу хвостик». — «Нельзя, — говорит сапожник, — у поросёнка только один хвостик. А его получит Венца». — «Нет, я!» — заорал Поник. «Я!» — заорал Карлик и дал Пеппику в ухо. А потом все передрались, и сапожник их выпорол ремнём.

Теперь вы уже знаете, что такое швайнфест.

С паном Пецольтдом дело обстояло точно так же. Но иногда швайнфест — очень весёлое занятие. Так что в рамках этого швайнфеста я размышлял, кем бы мог быть пан Пецольтд. Выдвигал бездну вариантов и тут же их отвергал.

Вряд ли пай Пецольтд был трактирщиком. Трактирщики живут на одном месте и не выезжают из Праги в Будейовицы. Люди разных профессий, работающих посменно в воскресенье, тоже отпадали, потому что у этих людей выходные бывают в разные дни недели, как придётся. Это, должно быть, такое заведение, где выходной день был определённым, в данном случае в среду. После долгих размышлений я вернулся к театру.

Театр в Будейовицах. В среду — спектакль. В другую среду — тоже. Спектакля нет во вторник. Отпадает. Если в среду спектакль, то пан Пецольтд, если он действительно там работает, должен был бы в среду вернуться, а не ехать только в среду. Хотя, хотя — минуточку! — в театре не начинают работать в шесть утра, так что если бы он возвращался в среду, у него хватило бы времени на то, чтобы после обеда успеть в театр. Предположим, что так. Это, конечно, швайнфест, но это так. Кем бы он в таком случае мог работать?

Вряд ли он был артистом. У артистов не бывает испорченных передних зубов, потому что тогда они могли бы играть только отрицательных героев. Ни у одного положительного героя не бывает испорченных зубов. Значит, он был кем-то другим. Кем? Рабочим сцены? Вряд ли. Это было бы заметно по рукам. Художником? Вряд ли. Солидное положение он не мог занимать, потому что не стал бы им рисковать. Что-то среднее. Кассир, администратор. Кассиров-мужчин в театрах не бывает, почти всегда это женщины. Администратор? Такой администратор, который говорит: «Товарищ директор занят, он на художественном совете». Он же ходит по предприятиям и агитирует: «Посетите наш театр». Если никто не посещает, администратора ругают. Теоретически это было возможным. Много на такой работе не заработаешь, так что мог бы подрабатывать контрабандой. Интересно, что люди, которые зарабатывают совсем мало, почти никогда не впутываются ни в какие аферы. Как-то обходятся. Те, кто зарабатывает много, за редким исключением тоже не впутываются, потому что не хотят рисковать. Обычно аферисты — это люди со средним достатком, которые или хотят иметь больше, чем имеют, или которые раньше имели больше и не хотят от этого отвыкать.

Почему бы, собственно, не попробовать?

Я позвонил в министерство культуры. Там не знали, кто в театре Будейовиц администратор. Я позвонил в наше краевое управление. Там установили, что в Будейовицах в театре администратора нет. Этого следовало ожидать. Только меня разбирало профессиональное любопытство.

— Почему нет?

— Он уволился, а нового ещё не приняли.

— Когда уволился?

— С месяц назад.

Ага! Месяц назад перестали появляться надписи в уборной.

— Спросите, как он выглядел?

— Товарищ директор говорит, что у него был глупый вид, — с нескрываемой радостью ответили Будейовицы.

— Так спросите, какой глупый вид, а если вам скажут, что очень, я буду на вас жаловаться.

Понемногу я вытащил из них всё. Они дали описание. Это мог быть он, но не обязательно.

— Зубы у него были?

— Были.

— Какие?

— Говорят, хорошие.

— Его фамилия?

— Подгайский.

— Имя?

— Братислав.

Я спросил, точно ли это, потому что мне казалось диким, что кого-то зовут так величаво. Но мне сказали, что да. Очевидно, родители у него были патриоты. Ещё мне сказали, где он постоянно проживает. Как ни странно, в Праге, на Напрстковой улице. Уволился по собственному желанию, о чём директор не сожалеет.

Потом я попросил нашего сотрудника как можно скорее собрать о нём материал, потому что эти зубы лишали меня последней надежды, а сам я пошёл на Напрсткову улицу. Он жил на первом этаже, на дверях висела табличка «Братислав Подгайский». Он даже не стеснялся.

XVIII

Я позвонил, втайне надеясь, что милый Братислав будет дома. Он был дома. На нём была домашняя куртка с кистями. Ужасный вид одежды! Раньше их носили гусары, потом домовладельцы.

Ему было лет пятьдесят, он был среднего роста, волосы с проседью. Никаких особых примет. Заспанные глаза и желтоватое лицо, чуть одутловатое. Вообще-то он был не толстый. Ничем не приметный стареющий человек. Вы можете встретить десятки таких лиц за день и или не обратите на них внимания, или не запомните их, потому что они никак не выделяются.

— Что вам угодно? — спросил он вежливо.

Я начал, как граммофон:

— Извините, что я вас беспокою, но я посещаю всех граждан, проживающих в этом доме, чтобы познакомить их с делом, которое очень важно для них, в их собственных интересах. Вы, конечно, можете мне сказать, что вы ни в чём не заинтересованы, но подумайте хорошенько, прежде чем окончательно отказываться. Сегодня мы пришли к вам сами, чтобы проинформировать вас. А завтра вы, очевидно, уже посоветуетесь со своей семьёй и тогда посетите нас. Плоды этого визита и доверие, которое вы нам окажете, будут залогом того, что в трудную минуту, когда вас постигнет несчастье, возможно и не по вашей вине, мы окажем вам поддержку.

Всё то время, пока я нёс эту чепуху, он удивлённо на меня смотрел. Ещё бы!

— Простите, что вам угодно? Я вас не понимаю.

— Конечно, нельзя на что-то решиться, не взвесив все «за» и «против», — продолжал я тараторить с воодушевлением, потому что вошёл во вкус, — но всегда нужно внимательно ознакомиться с тем, что вам предлагают, и выбрать то, что вы считаете самым выгодным. Я с удовольствием расскажу вам о всех возможностях, и мы вместе выберем ту, которая вас будет больше устраивать во всех отношениях. По собственному опыту я знаю, что не стоит быть мелочным, когда речь идёт о вашем благополучии, о вашем спокойном сне.

Он удивлённо моргал глазами, а я старался просунуть ногу за дверь, но у меня ничего не получалось. Он держал дверь. Мне хотелось попасть в квартиру, чтобы взглянуть, что там. Это мне так и не удалось, зато я изучил его самого. Но главного я ещё до сих пор не видел.

— И вы, как и каждый другой, должны испытывать чувство уверенности, что плоды ваших трудов, ваша квартира, ваше имущество находятся под надёжной охраной, и не только дома, но и в разъездах — в дом отдыха, на дачу вы можете взять с собой то, что мы вам предлагаем: покой и безопасность, которые вам гарантирует Госстрах.

Братислав пожал плечами.

— Сожалею, — сказал он кисло, — но я не собираюсь страховать своё имущество. Мне это невыгодно. У меня почти ничего нет.

— Понимаю, понимаю, но, извините, что я вас задерживаю, я действую только в ваших интересах. Ну, не хотели бы вы всё-таки ознакомиться с условиями страховки?

— Благодарю, мне это ни к нему.

— Ничего-ничего, но подумайте, не делаете ли вы ошибку?

Я улыбнулся очень дружелюбно и тепло. Только на каменных лицах может не дрогнуть ни один мускул, когда человек так радостно смотрит на вас. Он улыбнулся. Мне только это и было нужно. Братислав показал два ряда красивых зубов, никаких следов порчи. Я раскланялся.

Он был рад, что избавился от меня. А я был не очень рад. У бывшего администратора зубы были как у льва. А у кунцевского Пецольда они были испорчены. Конечно, я знаю, что зубы можно замаскировать, чтобы они выглядели как испорченные. Но, скажите, на кой чёрт кто-то бы стал этим заниматься, если в свой выходной день едет в Прагу. Пусть даже у него рыльце в пушку. Может случиться, что в поезде он встречает кого-то из знакомых, а тот бы заорал: «Пан администратор, пан администратор, что у вас с зубами?»

Очевидно, это не Пецольд, уж не говоря о том, что у администратора Пецольда есть или было подтверждение с места работы для того, чтобы он мог покупать билеты со скидкой. Но, с другой стороны, это описание очень похоже, хотя таких людей тысячи; но эта среда и дата подачи заявления об уходе с работы... Словом, решил незаметно показать пана Подгайского Кунцу. А Кунц скажет, он ли это. Скорее всего это не он, но лучше знать наверняка.

На другой день утром я приказал доставить гражданину Братиславу Подгайскому повестку, извещавшую его о том, что в четырнадцать ноль-ноль он должен явиться в местное отделение милиции для регистрации паспорта. В соседнюю комнату я посадил Кунца и сказал ему, в чём дело.

Подгайский пришёл минута в минуту. Пока для отвода глаз сравнивали его паспорт с карточкой и задавали разные общие вопросы, Кунц сквозь щель смотрел на него, а я на Кунца. Он показал мне знаком, что не тот.

— Наверняка?

— Ну да. Тот был совсем другой.

— Как же другой?

— Трудно сказать, в общем похож чем-то, но совсем другой человек. Если бы я его увидел, я бы его узнал.

Да, легко сказать, «увидел». Сначала нужно его найти. По паспорту установили, что гражданин Подгайский уволился из будейовицкого театра. Теперь, как он сказал, он хочет найти работу в Праге, потому что по состоянию здоровья не может разъезжать. Ничего удивительного в этом нет, он имеет на это право. О семье ему заботиться не надо — он бездетный вдовец. А какие-то сбережения на ближайшее время у него есть.

Больше он меня не интересовал.

В кабинете я нашёл рапорт. Наш сотрудник сообщал, что пани Ландова вечером, ночью и утром из дома не выходила, только в десять утра спускалась за покупками. В магазине напротив она купила маринованную капусту в банке и полкило хлеба. Это нас с ней сближало. Я тоже люблю капусту с хлебом. Заплатила шесть крон девяносто геллеров. Ничего нет лучше точности. И вернулась домой. Наверное, рисует картинки или делает маникюр. Откуда я знаю?

После обеда я пошёл в кино. На детектив, чтобы погрузиться в удивительный мир мечты, где следователи ходят с одухотворёнными лицами и всегда заранее знают, что совершит преступник. После таких фильмов люди удивляются, почему вообще существуют какие-то преступники, если они всегда так плохо кончают. Когда в детстве мы играли в сыщиков, никто из мальчишек не хотел быть преступником. С возрастом, очевидно, меняются понятия. Вряд ли какой злодей скажет: «Я злодей потому-то и потому-то». Большинство утверждает, что всем хочется жить по-человечески.

Когда я вышел из кино, был уже вечер. Нормальные люди идут вечером домой, а у меня такая болезнь, что по вечерам меня одолевает чувство общительности и я должен с кем-нибудь поболтать. О чём угодно, пока мне не захочется спать. Я решил ещё раз навестить пани Ландову. Наверное, она не расцветёт от счастья, но выгнать меня не сможет. А вдруг я ещё что-нибудь узнаю? Я шёл туда не из-за коньяка,

ей-богу, я не такой мелочный, чтобы напрашиваться на чужой коньяк. Кроме того, беспокоить людей, заведомо зная, что твоё присутствие не доставляет им радости, — малоприятное занятие.

Я отпустил наблюдателя на гуляш и сказал, что позову его, когда буду уходить. Во время моего визита его присутствие там было бесполезным, так почему бы не скрасить ему жизнь? Всегда следует делать людям что-нибудь приятное, пусть в мелочах. Так говорит Старик, и я по собственному опыту знаю, что это правда.

Как я и предполагал, пани Ландова мне не обрадовалась. Я на неё за это не обиделся. Нельзя ждать, чтобы кто-то из граждан стал визжать от радости, если бы к нему зачастили сотрудники угрозыска. Я даже считаю, что умеренное раздражение свидетельствует о чистой совести. Нормальный человек думает про себя: «Какого чёрта они ко мне привязались?» — это в порядке вещей. А если кто-нибудь расплывается в улыбках и говорит: «Проходите, проходите. Старуха, к нам в гости пришли. Не хотите поужинать? Старуха, вытри стул, пришёл пан участковый», — так у такого человека по меньшей мере в подвале в бочке засолен дедушка, который оставил ему наследство.

Как всегда, пани Ландова была очень сдержанна. Это её стиль. Говорят, что он вырабатывается в результате хорошего воспитания. Я так не думаю, но так говорят. Она не спросила: «Что вам надо?» Удивлённо подняла брови и сказала только: «Вы — опять?»

Способность быть культурно-нахальным — божий дар. Я ей завидовал.

— Не спускайте на меня собак. Я шёл мимо и решил узнать, не делаете ли вы случайно иллюстрации к книгам. Один мой знакомый — художественный редактор. Так я подумал, что после всех неприятностей, которые я вам причинил, не мешало бы сделать для вас что-нибудь хорошее.

На сей раз я не врал. Один мой знакомый действительно художественный редактор. Ужасный пьяница. Но нужно же было как-то оправдать свой визит. Я могу солгать, не моргнув глазом и не стыжусь этого, раз надо, но вообще не люблю

этого делать. Несколько раз случалось так, что я забывал, о чём говорил, а мой собеседник помнил всё со всеми подробностями и ставил меня в идиотское положение.

Пани Ландова пригласила меня войти. Сказала, что она однажды иллюстрировала сказку, но не уверена, что у неё это получилось. Впервые за всё наше знакомство она смутилась. Даже у очень самоуверенных людей есть уязвимые места. Очевидно, как художник, она была настолько добросовестна, что не могла притворяться. Я заверил её, что, даже если её работа не очень совершенна, я всё равно не разберусь, и предложил показать иллюстрации своему другу.

Она показала мне иллюстрации и сказала, что её трогает моё внимание. Пусть она думала что угодно, во всяком случае, держалась так, как будто на самом деле говорила серьёзно. И я обрадовался. При сложившихся обстоятельствах она была для меня единственным ключом, несмотря на то, что я был по-прежнему уверен: к часам пани Ландова никакого отношения не имеет. Но она знала что-то о Местеке, и я хотел сохранить с ней хорошие отношения. Кроме того, на неё было приятно смотреть: как она сидела и как рассказывала о своих возможностях. Действительно, на неё было приятно смотреть, почему бы мне в этом не сознаться. Каждый нормальный мужчина при любых обстоятельствах с удовольствием смотрит на красивую женщину, а если говорит, что нет, так врёт или просто тогда он ненормальный.

Для успокоения совести я отказался от коньяка под предлогом, что у меня изжога. Мы сидели и разговаривали о чём попало, и скоро я позабыл, что она знала Франтишека Местека, хотя совсем позабыть об этом я не мог. Я сидел и болтал, как болтают люди, когда хотят немного отдохнуть. И вдруг я увидел, что одна из копий висит криво. Я встал и поправил её. Я отлично помнил, что позавчера, когда пани Ландова снимала копию, чтобы показать мне, копия висела ровно. Так пани Ландова повесила её. Я тогда ещё подумал, какой у неё образцовый порядок, хотя вообще-то говорят, что художники ужасно неаккуратные люди. Может, это было случайно. Может, она вытирала пыль. А может, здесь кто-то и был после меня и брал эту копию в руки.

Не забывайте, что можно установить слежку за домом, в котором живёт интересующая нас особа, и знать точно, когда она выходит и приходит. Но трудно выяснить, кто приходит к ней, потому что в большой дом в течение дня входит много людей, о которых постовой не знает, живут ли они в этом доме или нет, а если нет, так к кому идут. Постовой околачивается около дома, а не лежит на рогожке перед дверью квартиры. Возможно, что к пани Ландовой кто-то заходил. В таком случае интересно было бы узнать кто.

Я сказал, что хочу пить и что сам налью себе воды. Вода была в прихожей, рядом с кухонным уголком. Там стояли две грязные чашки из-под кофе. На одной были следы помады, на другой нет. Зная аккуратность хозяйки, я мог предположить, что они стоят здесь недавно. Из разговора с пани Ландовой я узнал, что гости сюда ходят редко. Она сказала, что не хочет превращать квартиру в трактир. Есть много людей, которые превращают трактир в квартиру. Так почему не может быть наоборот? Чашка с помадой, очевидно, была её, другая — гостя... Большинство людей пьёт кофе вместе с гостями. Из второй чашки, очевидно, пил мужчина; однако совсем не все женщины красят губы, так что это не доказательство. Хотя на блюдечке был пепел от сигары. Женщины не курят сигар, а уж если и курят, так не стряхивают пепел на блюдце. Таким поросёнком может быть только мужчина.

Очень вероятно, что этот мужчина нанёс свой визит без преступных целей. А сигары сейчас курят только пожилые люди. Но когда я вспомнил про Кунца, я подумал, что вряд ли пани Ландовой нравятся пожилые мужчины. Так что сигару курил не близкий друг дома. Я вернулся и бодрым голосом соврал:

— Я вытащил из раковины кончик сигары. Он был очень страшный, и я испугался.

Она засмеялась. Очевидно, её это не удивило.

— Вы подумали, что это таракан, да?

— Нет, я не позволил себе так оскорбительно подумать, но, конечно, ему лучше там, где он сейчас находится. Я его выбросил.

— Это опять дядя, — сказала сдержанно хозяйка дома. — Он повсюду их разбрасывает. Хожу за ним с пепельницей, но иногда и не успеваю.

— Я думаю, что было бы лучше, если бы он курил трубку.

— Почему? Зачем ему курить трубку? Пусть хоть нюхает табак, если ему это нравится.

— Я думал, что большинство художников курят трубки.

— Это легенда. А потом дядя не художник. Он совершенно не разбирается в искусстве. У нас очень приличная семья, если не считать меня. Дядя раньше занимался экспортом у Бати, а теперь работает в театре.

— Играет?

— Только в шахматы. В театре он что-то пишет — словом, администратор. Но теперь он оттуда уволился.

— Подождите, его фамилия случайно не Каландр?

— Вы ужасно любопытный. Нет, не Каландр. Может быть, он и хотел бы быть Каландром, но его фамилия Подгайский. Братислав Подгайский.

Бум!

XIX

Вот тебе и на! Пани Ландова не только знала Франтишека Местека, но знала и Подгайского, который теоретически из-за своих поездок Прага–Будейовицы и из-за сходства с описанием мог бы быть и Пецольдом, но всё-таки это не он, потому что Кунц его не узнал.

У меня было такое же ощущение, как если бы вы вдруг распаковывали ту глупую посылку-шутку в коробке — коробка, в ней свёрток, в свёртке ещё свёрток, тысяча бумажек, и в самой последней булжчик. Или что-нибудь похуже, в зависимости от вкуса отправителя. У меня уже были полные руки бумаг, а я всё ещё не знал, что внутри: самое плохое или вообще ничего нет.

Если человек всё время думает об одном, у него начнут пошаливать нервы. Но от мысли, что где-то свободно разгуливает неизвестный, который совершает преступление за преступлением, а может быть, и убил человека, мне стало не

по себе. Неприятно. И профессионально. И по-человечески. Всё это меня очень тревожило, а я должен был сидеть и думать, нет ли ещё какой-нибудь зацепки, чтобы что-то узнать. Теперь я знал твёрдо только одно: за паном Братиславом Подгайским тоже нужно следить, а для того, чтобы мне выделили ещё одного наблюдателя, мне придётся обратиться к Бахтику. Сказать по правде, мне не очень хотелось просить его, хотя я знал, что он мне не откажет.

Я чуть не забыл про папку с иллюстрациями, за которыми пришёл. Пани Ландова была слишком хорошо воспитана, чтобы напомнить мне о них, и счастье, что, когда я уже направился к выходу, случайно заметил эту папку на комод. Я взял её и начал извиняться; а когда брал, стёр ею пыль с комода. Пыли было немного. Дня за два в городе всегда наберётся такой слой. Хозяйки приходят в ужас, а остальным на это наплевать.

Я вежливо распрощался с пани Ландовой и поставил на место постового. Потом медленно поплёлся домой. Шёл дождь. Я люблю ходить под дождём. На улицах меньше народу, и завеса дождя отделяет одного пешехода от другого, так что каждый может думать о своём. Папку с иллюстрациями я спрятал под пальто. Дома эту папку положил на столик и решил повнимательнее посмотреть содержимое. Испачканный пылью рисунок лежал сверху. Это был какой-то овчар. Он протягивал принцессе какую-то кружку, а у принцессы был унылый, глупый вид. Иллюстрации действительно были не очень удачные, но в данный момент меня не это интересовало. Меня интересовала пыль. Само собой, это была совсем обычная пыль, а, скажем, не золотая, но только если на комод. Пыль, значит, в квартире и в ателье её дня два никто не вытирал. Если её не вытирали с комода, так не вытирали и с картин; значит, картину на стене сдвинул кто-то другой, потому что, когда я позавчера уходил, картина висела ровно.

Из чужих там в эти дни был Подгайский. Может быть, ещё кто-то, но он — наверняка. Дядя-администратор живописью не интересуется. Может быть, он действительно ею не интересуется. Но его может интересовать что-то другое, иначе бы он не стал трогать картину. Он не мог задеть её плечом,

потому что она висит как раз над большим креслом, а случайно кресло никто не станет отодвигать.

Странно, но почему-то всё снова вертелось вокруг этих копий. Несмотря на то, что объяснения пани Ландовой меня вполне удовлетворили и я перестал о них думать, мне снова показалась, что здесь что-то не в порядке. Что именно — я не знал. Действительно, копию трудно обратить в деньги, но я был убеждён, что дядя Подгайский мог интересоваться копиями только с коммерческой точки зрения. Очевидно, он был очень умный, этот дядя, хотя не производил такого впечатления. Глупых служащих пан Батя у себя не держал.

С такими мыслями я уснул и спал спокойно, потому что теперь всё зависело не только от меня.

Утром я направился к пану доценту, ну, скажем, Ижилону. Это известный искусствовед, и я не хочу называть его по имени. Время от времени он делает для нас экспертизы.

— Пан доцент Ижилон, — говорю я, — могли бы вы перевоплотиться на денёк в слесаря-газопроводчика?

Он недовольно посмотрел на меня, не понимая, чего я от него хочу. Я объяснил, что быть слесарем совсем нетрудно. Нужно только надеть комбинезон, плоскую кепочку и взять сумку с различными ключами. И что всё это мы ему предоставим из собственных богатых запасов.

— Видите ли, пан доцент, — объясняю я, — я бы очень хотел, чтобы вы посмотрели в одной квартире, вернее в ателье, на три копии, которые висят там на стенах. Я в этом особенно не разбираюсь, и потом мне не хотелось бы действовать официальным путём. Тащить вас туда с собой, скажем, в качестве гостя мне тоже не хочется, потому что не исключено, что хозяйка дома вас знает. Будьте так любезны и наденьте на себя эту кепочку и остальные мелочи и возьмите ключ у дворничихи. Я уж устрою так, что дворничиха вам его даст, а в квартире никого не будет.

Пан доцент сказал, что это, конечно, несколько необычная экспертиза, но что в конце концов нам виднее и так далее. Я попросил его на другой день утром зайти к нам. Мы приготовим ему этот маскарадный костюмчик. Я дал распоряжение вызвать пани Ландову к одиннадцати часам в милицию для

продления удостоверения на оружие, кроме того, велел прикрепить на двери записку следующего содержания:

«Завтра от 11 до 12 часов приду менять газовый счётчик. Если вас не будет дома, оставьте ключ у дворника».

Всё развивалось по намеченному плану. Доцент переделал слесарем и отправился в квартиру к пани Ландовой, а я уселся в ресторане за углом. Я сказал ему, чтобы он потом пришёл сообщить мне о результате. Сначала я хотел отобрать у него такие интеллигентские модные очки, но потом махнул на это рукой.

Я предусмотрел, что дворничиха одного доцента в квартиру не пустит и пойдёт с ним. Потому попросил, чтобы мне выделили двух сотрудников в формах, которые будут проходить мимо и зайдут в дом. Им срочно понадобится о чём-то расспросить дворничиху. Чтобы не задерживать слесаря, один из них поднимется с ним наверх, в ателье, а второй останется внизу заговаривать зубы дворничихе.

Я съел суп и пил уже вторую кружку пива, а доцент всё ещё не возвращался. Я уже начинал бояться, что всё провалилось и что доцент сделал какую-то глупость: ведь, как известно, крупные специалисты не всегда наделены практическим умом. Я хотел уже идти посмотреть, не открыл ли он газ или ещё что-нибудь, как он, наконец, показался в дверях.

Он был очень взволнован, а его маломерная кепочка еле держалась на голове. Сначала он, конечно, меня не заметил и уже хотел выскочить, но я зашипел на него, как кобра, притащил к столу и заказал ему шпекачки. Он нагнулся ко мне и говорит:

— Вы об этом знали?

Я промолчал, потому что я всего-навсего человек и мне нравится, когда меня считают умным. Потом, между прочим, сказал ему, что неважно, знал я или нет, важно, что знает он.

— Первая, — запыхтел мне в ухо пан доцент, не обращая внимания на шпекачки, — первая — это Гальс. Дирк Гальс, не Франс, и вторая — он, а третья, хоть я и не могу поклясться, тоже он или его школа.

— Я знаю, — говорю, — но что вы об этом думаете?

Он посмотрел на меня, мягко выражаясь, непонимающе.

— Что я об этом думаю?

— Ну да, — помогаю я ему, — это здорово сделано, ну, а что вы думаете, можно это использовать в коммерческих целях, выгодно продать или ещё что-нибудь, вот что я хочу знать...

— Да вы что, спятили! — заорал эксперт на весь ресторан. — Вы ещё меня об этом спрашиваете!

— Не орите, — говорю, — и съешьте колбаски, я за них заплатил, но сначала скажите мне, можно ли эти копии выгодно продать и за сколько?

— Какие копии? — снова заорал пан доцент. — Какие копии вы имеете в виду?

— Послушайте, — говорю я, — я вас попросил посмотреть на три копии голландских мастеров, сказал вам, где они висят и как туда попасть. Теперь я вас очень прошу: съешьте эти колбаски и скажите мне, что вы думаете об этих копиях, если вы их вообще видели, вот!

Пан доцент побагровел и зарычал:

— Никакие это не копии, это оригиналы, уважаемый. Настоящие оригиналы, только рамы новые. Окончательно будет ясно после экспертизы, а эту фальшивую подпись на картине я сам могу снять за десять минут. Этим картинам не место в частном собрании, эти картины — национальное сокровище всего народа. Они должны быть в галерее, да. В галерее!

После этого он бросил кепочку на стул и принялся за колбаски, твёрдо решив, что за мою непроходимую глупость он потребует повышения гонорара.

XX

Теперь настала моя очередь удивляться.

— Вы в этом уверены? — зашипел я и отодвинул от него тарелку с колбасками.

— Вы что? — окрысился искусствовед. — Раз я сказал, значит правда. За третью я не ручаюсь, но это наверняка его школа. А мазня на сигнатуре сделана совсем недавно.

— А что, это каждый может определить с первого взгляда?

— Не каждый. Если бы каждый мог определить, тогда бы вам не пришлось звать меня, — ехидно сказал доцент. — А теперь дайте мне доесть эти колбаски, раз уж вы за них заплатили.

Я не остался в долгу и так же ехидно спросил, где он оставил сумку с ключами. Пан доцент вскрикнул: «Господи боже мой!» — и помчался обратно в квартиру. Пока он бегал, я съел колбаски, чтобы они не остыли.

— Скажите, пожалуйста, — начал я, когда он снова уселся, — если предположить, что эти картины до недавнего времени находились в государственных галереях, то можно ли выяснить, где именно они были?

Он сказал, что можно, что существуют соответствующие каталоги, а потом так захотел узнать, каким образом картины исчезли из галереи, что побежал за такси, чтобы сейчас же поехать и всё выяснить. Я его остановил и уговорил заехать к нам переодеться, потому что его кепочку и все эти манатки взял под расписку. И заставил его поклясться, что он сразу же позвонит мне, как только что-нибудь выяснит.

Не прошло и часа, как он позвонил и сказал, что эти картины должны бы были и сейчас находиться в галереях таких-то государственных замков. Пан доцент требовал немедленного разъяснения, как это так получилось, что их там нет и когда их вернут на место. Я заверил его, что скоро, и попросил узнать, не реставрировались ли в последнее время эти картины, а если реставрировались, то кем.

Я запросил соответствующие замки. Мне ответили, что эти картины до сих пор висят в галереях, что с ними ничего не случилось.

С меня было довольно. Копии, вернее фальшивки, висят на своих местах в галереях, и раз уж однажды эксперты признали их оригиналами, их и сейчас показывают любознательной публике с соответствующими пояснениями.

Оригиналы с пометками «копия», очевидно, контрабандой перевозятся за границу, потому что здесь их не продашь, а там за большие деньги их можно продать господам коллекционерам. Очевидно, копии провозил покойный Местек и,

чтобы не возвращаться с пустыми руками, прихватывал часы, из-за которых попался Кунц. Это было ясно.

Я ещё раз проверил и убедился, что, кроме Ципрбурга, никакая другая из интересующих нас галерей не была подчинена доктору Вегрихту.

Пани Ландову забрали в тот же день. Из осторожности я попросил, чтобы у неё в отделе удостоверений на оружие под каким-нибудь предлогом отобрали пистолет, так что это мероприятие прошло без заминок. Я не думал, что она будет сопротивляться с оружием в руках, но лучше не рисковать, иногда такой риск обходится очень дорого.

Её привели ко мне. Она удивлённо твердила, что ничего не понимает. Очевидно, действительно не догадывалась, ведь всё было продумано до мельчайших деталей. Ей не верилось, что она попала. Если бы со временем и обнаружили фальшивки, она бы утверждала, что она их получила уже в таком виде и как реставратор не могла заметить, что это не оригинал. Каждое доказательство в данном случае можно было бы оспаривать.

Я решил взять быка за рога.

— Послушайте, не стоит запыряться. Вы вернули в государственные собрания вместо оригинала фальшивки собственного производства, обозначили оригиналы как копии и через Франтишека Местека пытались продать их за границей.

— Но позвольте!

— Доказательство налицо. Мы нашли у вас оригиналы. За это вы ответите перед судом. Меня интересует только фактическая сторона дела. Признаёте ли вы себя виновной?

Она молчала. Не сказала ни слова. И я приказал её увести, потому что вина была очевидна и без признания. Дядю, если он в этом замешан, она не выдаст. По крайней мере мне так казалось. У неё был железный характер, а такие люди выдают другого только тогда, когда хотят ему отомстить. Но я был уверен, что дядя и покойный Местек знали друг друга, хотя ничем не мог это доказать.

Я не надеялся, что обыск у Братислава Подгайского даст какие-то результаты. Дядя не настолько глуп, чтобы держать у себя в квартире что-то недозволенное. И, кроме того, мне

меньше всего хотелось его испугнуть. От него ниточка тянется к Местеку, от Местека к Пецольду, и ещё остаётся загадочная гибель Местека. Я в сотый раз начинал верить, что Подгайский и Пецольд — одно лицо, и сто раз отвергал это предположение как очень соблазнительное, но неподходящее. Единственным человеком, знавшим Пецольда, был Кунц, а Кунц не узнал его. Притворство я исключал. Словом, ясно — это не он.

Я решил установить слежку за Подгайским, благо уже не нужно было следить за пани Ландовой.

И правильно сделал. На другой день утром мне позволили с вокзала и сказали, что Подгайский купил на следующий день билет на скорый поезд до Подмокли. Аккуратные люди всегда покупают билеты заранее. Так как Подмокли и Дечин — почти одно и то же, я решил, что поеду с ним. Я не

рискнул следить сам, ведь он мог меня узнать, поэтому наш сотрудник сел с ним в купе, а я — в другой вагон.

На станции назначения выходило всего несколько человек, так что я видел, как Подгайский со своим «телохранителем» направился к автобусу. С собой у него был только портфель, видно, он не собирался задерживаться в Дечине. Я не мог ехать с ними в автобусе и взял такси.

Дядя вылез из автобуса и в сопровождении нашего сотруд-



ника направился на окраину, где он разыскал низенький домик. Этот домик я знал. Раньше в нём жил Франтишек Местек. Я зашёл в маленькую кондитерскую и заказал кофе. Дядин «телохранитель» исчез за оградой.

Через десять минут дядя вышел из домика. Я договорился с нашим сотрудником, что он оставит мне записку в районном отделении милиции. Они ушли, и я позвонил у крыльца домика. Вышла старуха, очевидно, бывшая квартирная хозяйка Местека.

— Скажите, пожалуйста, жил здесь пан Местек? — спрашиваю.

— Ну, да, жил, — говорит бабка, — не заплатил мне за квартиру, а я теперь за него никаких долгов не плачу, потому что он умер.

— Да ну? — удивился я. — Значит, я напрасно сюда ехал. Этот человек, который только что здесь был, тоже его искал?

— А вам какое дело?

— Да так, я видел, как он отсюда выходил, и подумал, что, может быть, он о Местеке что-нибудь знает, если вдруг тот здесь уже не живёт.

— Да я же вам говорю, что Местек умер, а в его комнате живёт другой квартирант. Пан Местек свалился в Лабу. Наверное, пьяный был. Он почти всегда был пьян, а теперь уж нет его на свете. Этот пан тоже удивился, что он умер, всё никак не мог поверить, пока я не сказала ему, что сама видела труп на фотографии в полиции.

— А больше этот пан ничего не сказал?

— Ничего. А я и не спрашивала. Наверное, хотел денег. Здесь уж сколько людей побывало, и все хотели денег, которые у них брал в долг пан Местек.

— А кто здесь был?



— Да вот буфетчик из ресторана, что на углу. И тот пан, у которого Местек купил мотоцикл.

— А незнакомые люди здесь не были?

— Нет, я их всех раньше знала. Только того пана, что был, да вас не видела. Вы что, родственник?

— Да, дальний.

— А-а... Может быть, вы мне заплатите за квартиру? Он мне остался должен восемьдесят крон.

Я сказал, что я слишком дальний родственник, так что ничего платить не буду, и ушёл. Я не думаю, что Местек доверял своей квартирной хозяйке, потому что обычно квартирным хозяйкам люди не доверяют. А этой бы он ни за что не стал доверять.

Значит, Подгайский знал Местека, а Ландова, вероятно, знает о нём от дяди.

Я позвонил из автомата в районное отделение. Там мне сказали, что Подгайский поехал на поезде обратно в Прагу, что он ни с кем не встречался и ни с кем не говорил, только пообедал в ресторане на вокзале. Я последовал его примеру.

Я пил кофе и думал о связи Пецоляда с Подгайским, как вдруг услышал дикий рёв. Я обернулся. Пьяный мужчина налетел на официанта и опрокинул поднос с тарелками. Тарелки, конечно, разбились, а официант ругался. Пьяница глупо ухмылялся, а от двери к нему двигались дружки, чтобы убедиться, что их товарища никто не обижает.

— Вена, что случилось?

Вена выбрал самую удачную тактику. Показал на взбешённого официанта и с нескрываемой радостью заорал:

— Эй, смотрите, у него зубы вывалились!

В тот момент меня осенило. Мне уже было всё равно, будут ли судить Вену за мелкое хулиганство или нет. Я помчался что было духу в районное отделение. Подлетел к первому телефону и попросил соединить меня с Будейовицами, с театром.

Товарищ директор был болен. Я попросил поднять его с постели.

— Вы только не подумайте, что я сошёл с ума, — кричу я в трубку, — я тот-то и тот-то, звоню оттуда-то и прошу вас,

скажите мне, какие зубы были у вашего проклятого администратора, у этого Подгайского?

— Хорошие, — говорит директор.

Несколько дней назад он говорил то же самое.

— Честное слово?

— Честное слово. Он говорил, что дорого за них заплатил.

— А до этого у него были плохие?

— Ну, само собой, какого чёрта он бы тогда вставлял новые.

— А когда он их вставил?

— Да месяца два назад. Несколько дней у него совсем никаких не было, потому что старые выдернули, так что он свистел и шипел. Я просто слышать его не мог, а потом это плохо отражается на коммерческих делах театра, потому что с таким свистом он никаких билетов продать не мог. Он говорил: «Штаршая шештра». Кто пойдёт это смотреть?

— А вы его только поэтому не любили?

— Нет, не только поэтому. Он всё время где-то шлялся.

Когда я возвращался в Прагу, лил замечательный дождь и все люди казались мне ужасно симпатичными.

XXI

Подгайский, видно, убедился, что труп нашли. Вероятно, пани Ландова ему сказала. Я упомянул о Местеке случайно, и Подгайский, должно быть, здорово перепугался, раз уж отправился в Дечин на разведку. Он сам навлёк на себя подозрение. Я теперь не сомневался, что Подгайский и Пецольд — одно лицо.

Уж это как правило. Даже самый закоренелый преступник в конце концов сделает какую-нибудь ошибку и из-за этой ошибки сломает себе шею.

Я часто вспоминаю эту историю про старостову свинью. Рассказывают, что кто-то стащил у старосты поросёнка. Мудрый староста недолго думая созвал всю деревню в трактир, рассказал о своей свинье и заорал ни с того ни с сего: «На воре шапка горит!» Вор испугался и схватился за голову, ну и попался. Вот и пан Подгайский вроде него, хотя вообще-то он

был великий комбинатор. Но тут у него не выдержали нервы, и он поехал в Дечин узнать, что нам известно о смерти Местека. Вероятно, он сознавал, что делает глупость, но не мог сдержаться и самым надёжным способом подтвердил свою виновность.

Он помог мне найти доказательства. Я ведь не был уверен до конца, что Пецольд и Подгайский одно лицо — из-за зубов, из-за скидки на железнодорожный билет, а главное, из-за Кунца.

И в этом была моя ошибка. И ещё хорошо, что всё так кончилось. Беда в том, что я поверил Кунцу. Я имею в виду не веру в человека вообще, её я ещё по отношению к нему не потерял, потому что его участие в афере с часами — единственный и, надеюсь, последний шаг в сторону. Но как следователь я совершил ошибку и слишком поверил ему.

Я забыл, что иногда классовые предрассудки бывают значительно сильнее любого другого побуждения. Кунц, как разумный человек, сознался во всём, что касалось его лично. Но, видимо, он считал, что обязан покрывать человека, который, по его мнению, не только не сделал ему ничего плохого, но даже и помог в трудную минуту. Сначала Кунц, растерявшись, точно описал его, а потом, подумав, решил не выдавать.

А я поверил Кунцу, и это была моя ошибка — мой шаг в сторону. Конечно, я стараюсь избегать ошибок в своей работе. Иногда мне это удаётся, но здесь я упустил из виду чисто психологический момент. Конечно, психология — это ещё не всё. Нужны фактические доказательства, но нельзя отрывать одно от другого. Можно запутаться и загубить дело.

Теперь нужно было арестовать милого дядю Подгайского. Не имело смысла оставлять его дальше на свободе. Он знал, что мы следим за ним, или по крайней мере догадывался об этом, так что в любую минуту мог улизнуть.

Я потребовал ордер на арест на основании обвинения в контрабанде. Кроме того, я подозревал его в убийстве Франтишека Местека.

Сел в машину с двумя сотрудниками и поехал за Подгайским.

Его не было дома. Я знал, что он не убежит далеко — за ним ходили по пятам. Если бы он выехал из Праги, мне бы дали об этом знать. Весьма вероятно, что Подгайский куда-то вышел, может быть поужинать. Мы оставили машину за углом, и я стал поджидать его около дома. Не прошло и десяти минут, как он уже показался из-за угла в сопровождении своего «телохранителя».

Я не хотел делать шума, пошёл ему навстречу и говорю:

— Я из угрозыска, прошу вас отправиться со мной на допрос. Мы вас долго не задержим.

Он несколько секунд очумело смотрел на меня, а потом сделал то, чего я от него никак не ждал. Изо всей силы пнул меня в живот, так что я отлетел в сторону, и со всех ног помчался к Карловым баням.



Это всё осложнило обстановку. Я не сразу опомнился, а за это время дядя Братислав удрал довольно далеко. Как раз мимо проезжал двадцать второй трамвай, Подгайский успел вскочить на площадку. Следующая остановка, как известно, только у философского факультета. Водитель нашей машины не мог включить мотор, и я, проклиная всё на свете, побежал за трамваем, мои помощники тоже.

Ловить преступника в городе трудно. Стрелять в него нельзя, потому что можно насмерть перепугать мирных граждан.

Короче говоря, он удрал в трамвае, а мы, закончив кросс, ждали, когда подъедет наша машина. Я не спускал глаз с трамвая. И вдруг трамвай останавливается, кондуктор выталкивает с площадки дядю Подгайского и орёт на него, чтобы тот заплатил десять крон за то, что вскочил в трамвай на ходу.

Я охотно верю, что дядя с радостью заплатил бы эти десять крон. Но он не успел. Мы уже были тут как тут. И кондуктору пришлось отпустить его без штрафа. Мы посадили дядю Подгайского в машину. Я очень сожалел, что, будучи лицом сугубо официальным, не мог дать ему от себя лично пару пощёчин за его пинок. Я бросал на него свирепые взгляды и утешался тем, что прокурор ему этот пинок припомнит. Хотя в общем-то не стоило об этом распространяться. Что ни говори, а смеяться-то будут надо мной.

Когда мы приехали, я выпил кофе и приступил к допросу. Я зверски хотел спать, но ждать до утра не стоило. Он наверняка выдумал бы тысячу историй, а нам пришлось бы всё это распутывать.

Дяде Подгайскому уже расхотелось драться, и он вёл себя вполне благоразумно. Даже извинился передо мной за тот пинок. Во всём, что касалось часов, он признался и назвал трёх человек, которые продавали их. Он не только назвал их фамилии, но и указал точные адреса. О Кунце тоже. Всё, что я знал раньше. Однако дядя утверждал, что понятия не имеет о картинах. Я решил отложить этот разговор до того времени, когда будет точно установлено, каких картин не хватает в тех галереях, где побывала пани Ландова.

Когда речь пошла о Местеке, Подгайский проявил удивительную твёрдость духа. Он сказал, что Местек действительно перевозил часы через границу, но потом вдруг поставки прекратились. Тогда он сам приостановил продажу. Он якобы думал, что Местек попался, и поэтому не посылал никого за последней партией в Ципрбург, чтобы не влипнуть. И только когда пани Ландова рассказала ему, что я спрашивал

про Местека, нервы у него не выдержали, он поехал в Дечин. И был поражён, узнав, что тот умер.

Я не верил ему. Каждый опытный преступник, если он совершил не одно, а несколько преступлений, признаётся в самом мелком, в данном случае в контрабанде, чтобы прикрыть более тяжкие.

Подгайский утверждал, что пани Ландова ничего не знала о часах. Вот этому я был готов поверить, потому что, знай она о часах, не связывалась бы с Кунцем.

Так как Подгайский упорно твердил, что не имеет никакого отношения к гибели Местека и ничего не знает о картинах, я расстался с ним, когда он подписал то, в чём признался, а сам пошёл спать. Было уже поздно, и всё равно мне ничего другого не оставалось, как собирать веские доказательства его вины. Суду нужны доказательства. Конца этого дела ещё не было видно, но всё-таки спал я крепко, потому что знал, что пан Подгайский-Пецольд ничего уже не натворит. Наконец-то он был там, где ему положено.

XXII

На другой день я послал в Дечин фотографии Подгайского с просьбой выяснить, не видел ли кто-нибудь его с Местеком незадолго до того, как последний очутился в Лабе. Точную дату смерти Местека установить было нелегко. Его квартирная хозяйка привыкла к тому, что он всё время в разъездах, и не заботилась ни о чём, пока он аккуратно платил. Он или был в плавании, или шлялся по таким местам, что ой-ой. То же самое сказала и девица, которая оказалась в интересном положении.

Короче говоря, о Франтишке Местеке никто не беспокоился. Поэтому можно было только приблизительно установить тот день, когда его видели в последний раз. Он мог, но не должен был утонуть именно в этот день.

Но случайно в Дечине нашим повезло. Трактирщик, которому Местек был должен, сказал, что примерно в то время, когда произошло убийство, Местека разыскивал в его забегаловке — трактирщик называет её «мой ресторан» — человек,

который по описанию был очень похож на Подгайского и которого трактирщик узнал по фотографии.

Как говорил трактирщик, Подгайский вывел подвыпившего Местека из забегаловки и скрылся с ним в неизвестном направлении. После этого дня живым Местека уже не видели.

Я вызвал Подгайского на допрос и спросил его, когда он видел Местека в последний раз. Он минутку подумал и потом сказал: тогда-то и тогда-то.

Тот же день называл трактирщик.

— О чём вы с ним говорили?

— Я упрекал его, что он слишком много пьёт, что живот не по средствам, залез в долги и тем самым обращает на себя внимание.

— А он?

— Он сначала ругался, а потом пообещал, что всё это бросит.

— Как вы с ним расстались?

— Он пошёл ещё в какую-то пивную. Я с ним не пошёл. Он сказал, что у него там назначена встреча, и ещё раз пообещал, что бросит пить.

— Что вы ещё от него хотели?

— Я попросил его, чтобы следующую партию часов он отвёз в Ципрбург сам, потому что у меня были неприятности на работе из-за выходных. Директор ругался, что я всё время где-то шляюсь и не интересуюсь работой театра.

— Вы рассказали ему, как проехать в Ципрбург?

— Да, рассказал, на каком автобусе он должен ехать. Он хотел поехать туда в воскресенье.

— Он записал то, что вы говорили?

— Да, что-то намарал на коробочке из-под сигар. Сначала я хотел уничтожить это, но потом передумал — он так налился, что без записки всё позабудет.

— Вы с ним расстались по-хорошему?

— Да. Я не очень-то верил, что он бросит пить и вообще начнёт жить нормально, но надеялся, что он хоть какое-то время будет сдерживаться.

— Потом вы уже не виделись?

— Нет. Я даже ничего не знал о нём, пока не съездил в Дечин. Думал, что его посадили.

На сей раз было достаточно. Конечно, я ему не верил. По-моему, его рассказ был удачной комбинацией полуправд. Подгайский был не дурак и признался во всём, в чём его могли уличить, а о главном не сказал ни слова.

Могло быть и так, что Местек разъярился, когда Подгайский начал его упрекать, и стал шантажировать «хозяина», после чего Подгайский, который, как мне кажется, был исключительно хладнокровным человеком, столкнул пьяного в воду. Может быть, он его ещё перед этим подпоил, чтобы было безопаснее. Вытащил у него бумажник с документами, но, очевидно, не успел просмотреть карманы. По случайному стечению обстоятельств у Местека в карманах были часы, которые он собирался преподнести какой-нибудь из своих подруг. В конце концов было вполне логично убрать Местека. Подгайский отлично понимал: раз уже кто-то начал шантажировать, значит с ним не рассчитаешься, это будет тянуться до бесконечности. И, кроме того, вечно пьяный Местек в любую минуту мог проболтаться.

Всё это было ясно, как дважды два. Но доказать фактами я не мог. Мне ничего другого не оставалось, кроме как убеждать Подгайского признаться в убийстве Местека. Вы представляете, как это трудно, потому что вряд ли кто-нибудь по собственному желанию сознаётся в поступке, по всей видимости означавшем для него петлю.

Оставалось невыясненным также и дело с картинами. Все находившиеся под рукой искусствоведы носились по следам реставраций пани Ландовой. В течение недели удалось установить, что она ещё куда-то замотала две картины. Тоже голландцев. По-видимому, с них легче делать копии. И, кроме того, их, наверное, легче продавать, так как цена на них установилась довольно прочно и они обычно небольшого размера. Мне необходимо было выяснить, где находятся ещё две картины, и водворить их на место.

Мы поговорили об этом с пани Ландовой. Вернее, говорил в основном я, а она молчала. Я убедительно просил её объяснить, куда исчезли эти две картины.

Заключение несколько изменило её внешность, но ничуть не повлияло на характер. Она очень разумно и терпеливо объяснила мне, что ещё не сошла с ума, чтобы что-то на себя наговаривать и что о тех трёх картинах, которые нашли у неё в квартире, она тоже ничего не знает и отказывается ручаться за подделки, которые реставрировала и чистила. Эти три картины она взяла исключительно из любви к искусству, не собираясь ими пользоваться в других целях.

— Вы думаете, что вам это поможет? — спрашиваю.

— Думаю, что да, — говорит. — Само собой, существует какой-то «художественный почерк», манера письма, которую можно определить и на фальшивках, но судить об этой манере могут только специалисты. Заключение специалистов, даже окончательное заключение в том случае, когда речь идёт о подделке, можно оспаривать...

— Может быть, и так, — не сдавался я, — только ваш дядя, пан Подгайский, в тюрьме по несчастному стечению обстоятельств покончил жизнь самоубийством. Знаете, ведь он тоже сидел. И в последние минуты он всё-таки сознался. Там были свидетели. Протокол не мог подписать, потому что перерезал себе вены на обеих руках. Ну, так что?

Я почувствовал, что теряю почву под ногами. Это был ужасный шаг. Обвиняемый может нам лгать, а мы не имеем права, ни при каких обстоятельствах. Я всегда считал это правильным, потому что поиски объективной правды — это главное в нашем деле. Но на этот раз я соврал.

Не только потому, что мне хотелось изобличить пани Ландову. Я мог это сделать и законным путём. И не затем, чтобы подтвердилось соучастие Подгайского в контрабанде. С этим делом можно было не спешить. У меня была твёрдая уверенность в том, что Подгайский — убийца. И почему-то у меня было такое чувство, что я ничего потом не докажу, если не сделаю это сейчас. Я всё время взвешивал все «за» и «против». Всё взвешивать — это моя обязанность и в какой-то мере черта характера. Только у меня уже не оставалось никаких «против». Я был уверен, что Подгайский убил Франтишека Местека.

Я теперь совершенно ясно представил себе все действия преступника, я видел всё это, как в кино. Мне казалось, можно нарушить закон для доказательства этого преступления. Мне не с кем было посоветоваться, как поступить дальше. Да никто бы никогда и не посоветовал нарушить закон. Таких советов не дают. Признание пани Ландовой было бы аргументом для признания Подгайского, и я думал, что должен заполнить этот аргумент. Не должен же убийца оставаться безнаказанным. Если бы всё сошлось, никто бы потом меня в этом не упрекнул. Потому что никто бы об этом не знал. Только я сам.

Я понимаю, что на закон нельзя махнуть рукой. И меньше всего на это прав у человека, которому общество поручило охранять закон. Но только я был уверен, что не ошибаюсь.

Когда человек твёрдо уверен, что не ошибается, он считает, что имеет право на такие действия.

— Да, так. Перерезал себе вены, — повторил я снова. В эту минуту мне казалось, что существует какая-то маленькая и большая справедливость и что я в ущерб маленькой сделал что-то для той, большой справедливости. У меня было ощущение, будто я сижу рядом с самим собой и наблюдаю за действиями другого человека, который чем-то похож на меня. И я не мог отказать в логичности этому другому человеку.

— Так что же?

Пани Ландова была совершенно спокойна. Я почти завидовал этой женщине. Завидовал её спокойствию, её самоуверенности. Она всегда думала только о собственной шкуре.

И как раз в тот момент, когда она мне стала противна, я подумал, что у неё, собственно, тоже есть право на справедливость и что я не могу его урезывать, как мне вздумается. Солгав, я уменьшил для неё возможности защиты, теперь это нужно было как-то уравновесить. Поставить на чашу весов ту же гирию, которую я на минуту снял. Видите ли, человек что-то делает, но его действия взаимосвязаны. Один поступок влечёт за собой другой, третий, четвёртый. Для соблюдения равновесия не оставалось ничего другого, как снова нарушить закон. Снять гирию и снова поставить на место. Одному чело-

веку никогда нельзя давать власть над законом. Но только я был уверен, что Подгайский убийца, и этим оправдывал свои действия.

— Ну что? Зачем вы подставляете свой лоб в интересах того, кого уже нет и кто не только признался, но и выдал вас?

— Это каждый может сказать, — ответила она.

— Конечно, может, вы правы, но скажите, как я сам мог выдумать, что эти картины он для вас продавал за границей через Франтишека Местека, механика Лабской флотилии, который дословно подтвердил его признание? Послушайте, дело совершенно ясное. Я не хочу из вас делать дурачку, но и вы из меня дурака не делайте, до сих пор мы были не в плохих отношениях. Вы должны признать, что в деле Кунца я вёл себя по отношению к вам справедливо. Я вам поверил. Я не взываю к вашей благодарности, скорее — к вашему разуму. Игра проиграна, факты свидетельствуют против вас, вы сами это видите. Если вы сейчас сознаетесь, я готов изложить всё дело так, как будто это было ваше чистосердечное признание. Ну, скажем, это я делаю потому, что мне понравилась ваша попытка спасти Кунца. Здесь последняя возможность. Ну, прошу вас, решайтесь.

Решилась. Подписала. Признаюсь, я сделал всё, что ей обещал, так что можете думать обо мне всё, как хотите. Мне казалось, что это в интересах справедливости, никому от этого вреда не было, а я привык держать данное слово. Правда, это шло вразрез с буквой закона, но за свои поступки в конце концов отвечаю только я, младший лейтенант Войтех Блажинка.

Единственное средство от бессонницы — никогда не делать того, о чём потом пожалеешь.

Как я уже говорил, я комментировал признание пани Ландовой как чистосердечное, ибо считал, что так лучше для дела. Выгоды мне от этого никакой не было, а кто не знает за собой вины, пусть швырнёт в меня камнем. Я присягал, что буду служить трудящемуся народу честно, бескорыстно, и, хотя это звучит чуть-чуть патетично, когда так говоришь о самом себе, я действительно стараюсь служить честно и бескорыстно. Не потому, что боюсь нарушить присягу, а потому,

что в этом моя жизнь. Словом, не стоит столько рассуждать из-за комментирования одного признания.

С этим признанием и с тем, что выяснилось в Дечине, я снова надел на пана Подгайского. Он пытался увильнуть, но потом признался во всём, что касается картин. Обе картины были проданы в Западную Германию. Я считаю, что это свинство. Во-первых, потому, что он их продал, а во-вторых, потому, что продал такие вещи, на которые сотни людей могли бы с удовольствием смотреть, продал кому-то, кто скорее всего будет смотреть на них, как на капитал, и запрячет по-дальше. А только ради этого никто бы не стал писать свои картины триста с лишним лет назад, да и вряд ли с такой перспективой удалось бы нарисовать что-нибудь приличное.

Ну, хорошо, с картинами мы покончили, но в убийстве Местека Подгайский не признавался, несмотря на то, что я часами убеждал его облепив свою совесть. Всё равно все факты были против него, и никто другой, кроме него, не был заинтересован в устранении Местека. В конце концов он заявил, что убить человека — это страшное дело, что он на это не способен, и что ему незачем было убивать Местека, ведь тот был ему нужен, и что Местек не угрожал и не шантажировал, и что они расстались по-хорошему...

Длилось это с неделю.

Я уже почти не спал и не ел, потому что всё время думал об одном и том же. Наконец решил передать дело в прокуратуру. Будь что будет. Я знал, что больше мне ничего не удастся обнаружить или доказать и что всё это не доведено до конца.

Короче говоря, я закрыл дело, а гордиться было нечем. Сложил всё это в хорошенькую папочку и отдал Бахтику. Мне уже было всё равно, что он подумает. Бахтик мне не указ, и без него знаю, что не довёл дело до конца.

Я не удивился, получив сообщение, что Старик немедленно вызывает меня к себе.

XXIII

Когда я влез в его кабинет, Старик был не один. Там сидели два гражданина. Лица у них были слишком загорелые

для осени, на коленях лежали фиолетовые велюровые шляпы, а сами они были одеты в зелёные костюмы. Короче говоря, это были два гражданина цыганского происхождения, хотя никто не говорит, к примеру, гражданин турецкого происхождения, а говорят просто «турок». Очевидно, в отношении к цыганам остались ещё какие-то предрассудки, поэтому мы и называем их так вежливо.

Меня очень удивило, что Старик тотчас же в их присутствии перешёл к делу. Он постучал по моей папке и сказал:

— Кто говорит, что Подгайский убил Местека?

— Я говорю, товарищ капитан, — твёрдо произнёс я, — потому что это логично.

Старик уселся поудобнее и вопросительно посмотрел на меня.

— Я думаю, что нельзя принять другую версию, — продолжаю я, — никто, кроме Подгайского, не был заинтересован в смерти Местека. Его видели в последний раз с Подгайским, они вместе вышли из трактира; Подгайский признаётся, что они спорили. И с тех пор никто Местека живым не видел.

— А что, если Местек сам упал в воду? Что тогда? — спрашивает Старик.

— Если бы он упал сам, — настаиваю я на своём, — Подгайский бы пораньше начал интересоваться судьбой своего главного сотрудника, который исчез ни с того ни с сего. Это типичное хладнокровно задуманное убийство. Подгайский устранил его продуманно и очень ловко. Он знал, что доказать это трудно. Поэтому он и не признаётся.

— Ну да, — кивает Старик. — У тебя всё великолепно разложено по полочкам. Только одного тебе не хватает.

Я не спрашивал, чего именно, чтобы он не подумал, что защищаюсь. Я-то знал, что мне многого не хватает. И тут Старик вдруг говорит:

— Видишь, в чём дело, ты, наверное, не играешь на скрипке.

— На скрипке не играю, — отвечаю я, — и на цимбалах тоже, и на флейте, потому что у меня нет слуха.

Хотел я ему сказать, что если бы играл на скрипке, так этим бы и кормился, но потом сдержался и стал ворочать

мозгами. Я никак не понимал, какое отношение имеет музыка или скрипка к этому делу, да ещё тут торчали эти граждане цыганского происхождения, которые, вполне возможно, и играют на скрипке. Но я понять не мог, что в этом плохого. Старик с нескрываемым удовольствием наблюдал за мной.

Он досыта посмотрелся на меня, а потом с невинным видом заявил:

— Дело в том, что Шерлок Холмс играл на скрипке. Так я думаю, что тебе бы это тоже не помешало. Видишь ли, это способствует дедукции. Да не делай ты такое свирепое лицо! Оскорбить ты меня не можешь, потому что я твой начальник, а если бросишься на меня, так я откушу тебе нос.

Теперь мне было ясно, что Старик что-то знает, чего я не знал. Но я был уверен, что если он узнал об этом случайно, так меня упрекать не станет.

— Жизнь для чистых душ полна неожиданностей, — продолжал Старик. — Это, — он показал на старшего гражданина, который встал и поклонился, — это Ружичка Бенедикт, а это, — та же самая процедура повторилась с младшим гражданином, — это Ружичка Мефодий. Удивляешься?

— Не очень, — ответил я.

— Так вот, под конец самое интересное, и ты удивишься. Это паспорт Франтишека Местека. Вот.

И бросил на стол красную книжечку.

— Теперь удивляешься?

— Да, теперь удивляюсь.

— Слава богу. А чему ты, собственно, удивляешься?

— Удивляюсь тому, как он к вам попал.

— А ты не удивляешься, как ко мне попали Бенедикт с Мефодием.

Оба названные встали.

— Так чтобы ты не очень долго удивлялся: послали их ко мне с Остравы. И паспорт Местека с ними. Дело в том, что Бенедикт с Мефодием обокрали там склад, разворовали топоры и пилы. А когда их основательно обыскали, так обнаружили и паспорт Местека в бумажнике. А где его нашли Бенедикт с Мефодием?

— С вашего позволения, украли, — сказал Бенедикт.

И Мефодий сказал:

— С вашего позволения — да.

— Так, так, — похвалил их Старик, — украли. И украли прямо у владельца, у Франтишека Местека, который в нетрезвом состоянии лежал на берегу Лабы как раз в тот вечер, когда его, как ты уверен, убил Братислав Подгайский. Тебе ничего в голову не приходит?

— Приходит. Я думаю, что Подгайский мог столкнуть Местека в Лабу и после того, как эти два гражданина украли бумажник.

— Да, да, мог, только тогда он должен был бы следить за ним и испугался бы двух Ружичек. Ему пришлось бы оставить Местека одного, а потом к нему вернуться и столкнуть в эту реку, потому что Местек вряд ли бы оказал сопротивление. Только что сначала сделал бы Подгайский?

— Сначала он бы вынул у него из карманов часы.

— Ну вот. А почему этого не сделали Бенедикт с Мефодием? Наверное, потому, что им кто-то помешал. Так кто вас испугнул? — обратился Старик к обоим Ружичкам.

— С вашего позволения, — сказал Бенедикт, — мы испугались пана постового.

Старик был доволен.

— Так, так. Вы испугались пана постового и удрали, а тот подошёл к Местеку, поставил его на ноги и сказал, чтобы он пошёл отсыпаться домой, потому что на берегу не храпят. Местек пошёл в одну сторону, а пан постовой в другую, потому что у него нет времени возиться с каждым пьяным. Дело в том, что это было в нерабочее время. Мефодий с Бенедиктом и потом Местека в воду не толкали. Часы в кармане — это ясное доказательство того, что его никто туда не толкал. Он сам туда свалился, наверное, потерял дорогу. Жалко его или не жалко, это уже не наше дело. Хочешь что-нибудь к этому добавить, товарищ следователь?

— Пока нет, — сказал я.

Старик позвонил. Бенедикт с Мефодием раскланялись и пошли навстречу своей судьбе, с которой уже, видимо, смирились. Когда дверь за ними закрылась, я сказал:

— Товарищ капитан, я хотел кое-что добавить. Я думаю, что я дурак.

Дурак — это понятие широкое. Когда вы говорите о ком-то, что он дурак, значит, этот человек сделал вам что-то неприятное. Когда вы себя называете дураком, это значит, что вы забыли ключи или что-то в этом роде. Но на сей раз я думал, что я дурак в полном смысле этого слова. Всё моё расследование показалось мне ужасно убогим и глупым. Как говорят, я ничего плохого не хотел. А что толку? Ещё хуже. Я был уверен, что знаю сущность этого дела, что понимаю всё случившееся. Ещё час назад я был в этом уверен. На самом деле я ничего не знал. А я вёл себя, как будто действительно произошло убийство. Ведь только это оправдывало мои действия. В течение столетий именно так и совершались многие юридические ошибки. От уверенности в правоте и из желания сделать лучше.

Я без разрешения взял стул и плюхнулся на него, как мешок с мукой. Потом посмотрел на Старика. Тот, очевидно, ждал, что я скажу. Но ведь он, собственно, ничего не мог знать о том, как я допрашивал Ландову.

— Что с тобой? — спрашивает он. — Чего ты так расстраиваешься?

Он ещё думает, что я чересчур добросовестен! Лучше бы мне провалиться на месте. Но рассказать ему обо всём я не мог. Тогда бы я свалил на него ответственность и втянул в такое дело, за которое по справедливости должен был расплачиваться сам. Я промышчал, что, дескать, ничего.

— Ну да, — говорит Старик, — колесо вдруг полома-лось и сделало «бац!». Послушай, не расстраивайся так. Ведь я же не думаю, что ты несерьёзный парень, наоборот...

Началось. Я не знал, куда деться.

— Я... Я...

— Да ну, серьёзно! Не стоит беречь рану.

— Товарищ капитан! Ведь из-за меня мог попасть на виселицу невинный человек!

Старик посмотрел на меня из-за кипы папок. Мне было всё равно, что он сделает. Только бы уж перестал быть таким чертовски разумным!

Он сравнивал папки и стукнул ими по столу.

— Не болтай, — говорит. — Ничего такого ты не мог сделать. Не мог, даже если бы изо всех сил старался. Понимаешь, даже если бы ты действительно захотел сделать юридическую ошибку, у тебя бы ничего не получилось. Не выйдет. Это практически невозможно. Ты себя переоцениваешь. Ты, конечно, можешь сделать много мелких ошибок, но ни одной большой. Если ты ещё этого не понял, так со временем поймёшь. Дело в том, что у тебя нет права решать, кто виноват, а кто нет. Такого права теперь нет ни у кого. Один и тот же человек не может вести следствие, судить и выносить приговор. Справедливость — это слишком хрупкая штука, чтобы доверить её кому-то одному. Понимаешь?

У меня было такое чувство, как будто гора с плеч свалилась и остался только один камушек. И всё равно я дурак.

Старик порылся в ящике и вытащил какой-то окурок. Посмотрел на него с нежностью и закурил.

— Слушай, — качал он, — ты сам должен в этом разобраться. Я думаю, что ты не дурак. Дурак тот, кто не думает. Я бы тоже был таким же дураком, как ты, если бы мне случайно не привезли сюда этих двух приятелей, потому что из Остравы позвонили и в Дечин и к нам, в Прагу, а я попросил их сначала доставить сюда. Всё, что ты здесь написал, — он показал на папку, — теоретически логично, только, к сожалению, не соответствует действительности. Не всё, конечно, а только то, что касается Местека, вернее, его убийства. Что не доказано, то не доказано, даже если это отлично придумано. Правда — это то, что действительно случилось, а не то, что по логике вещей могло случиться. Ты знаешь, что такое сомнение?

— Знаю, это есть в словаре.

— Так я тебе скажу то, чего в словаре нет, и не сердись на меня, что я это говорю, я ведь постарше тебя. Сомнение — прямое следствие жизни и одновременно её предпосылка. Если тебе скажут, что у тебя за спиной стул, — не садись, пока не помотришь и не убедишься. А вдруг это крокодил? Возьмёт да и тяпнет тебя за мягкое место. Это очень полезный принцип. В криминалистике и вообще. Ты не сердись на

меня, что я тебя поучаю? Каждый старый человек думает, что он может уберечь молодого от ошибок, которые когда-то сам делал. Я не знаю, убедился ли ты сам в этом, но отношение человека к окружающему зависит и от того, во что он сразу готов без оглядки поверить. Дело в том, что потрогать тоже не всегда можно, по крайней мере не сразу. Так что иногда приходится верить кому-то другому, кто клянётся, что знает. Иногда веришь, иногда не веришь, но эта вера или неверие — слово-то какое-то неподходящее — всегда себя оправдывает. Папку забери и переделай конец. Дело это закончено. Эти картины мы за границей поищем и будем надеяться, что заполучим их обратно. Ну что, ты на меня правда не сердишься?

— Нет, — говорю я, вытягивая руки по швам, хотя это совсем не служебный разговор. — Товарищ капитан, разрешите мне удалиться.

Старик тоже встал из-за стола и сказал:

— Товарищ младший лейтенант, вы свободны.

И я ушёл.

Было уже поздно. Дома сделал себе кофе, закурил сигарету и стал смотреть в окно. На улице зажигались фонари один за другим, как будто старый фонарщик ходил со своим длинным шестом и зажигал лампы. Вот так ходит он каждый день и знает, что это нужно делать, чтобы на улицах было светло, и что если это не сделает он, так сделает кто-то другой, ведь фонари должны светить. И фонарщик не ждёт, что кто-то потреплет его по плечу и скажет, что без фонарщиков жизнь невысказима. Просто он выполняет свою работу, как и каждый из нас, потому что так надо.

Krok stranou, 1961

Перевод: Т. Саран

Иллюстрации: И. Бронников

Зденек Почоп

ВСПОМИНКИ НАПОСЛЕДОК

Он удобно развалился за моим письменным столом, заполняя крошечный объём комнаты трубочным дымом и с поразительной лёгкостью рассказывал недавно сочинённые истории, чей юмор совершенно не походил на устоявшийся тогда в литературе, юмор, будто зачёрпнутый из других источников, из иного, удивительного видения мира, горьким привкусом напоминавший Зоценко лучших лет. Все мы, случайно собравшиеся (Иван Клима курильщиком ещё не клеймил), были взволнованы, ибо даже в издательстве человек явно талантливый встречается не слишком часто.

Так мы и познакомились. Год был 1960-й, и мы пребывали в начале славных дел, совершенно пока не понятных, но уже закодированных в нас, в наших взглядах и в наших поступках, в наших мечтах и разочарованиях, и даже наше предложение, вполне закономерное, записать эти истории, уже было шагом в известном направлении. Дорогой пан, должны были мы сказать, давайте, вы просто забудете, что тут нам понарасказывали, а мы сделаем вид, что ничего этого не слышали. Но ничего подобного произнесено не было, а я, к тому же, попросил истории записать.

Записанное изрядно отличалось от рассказанного, но с ним так было всегда — он писал, черкал и переписывал нано-во, недовольный получавшимися строками, и наконец, после долгих препирательств с властями компетентными и не очень, опубликовался под псевдонимом Карел Михал. Причём с большим успехом. Сочинил он даже больше, чем было напечатано, пара-тройка рассказов не прошли внушительное сито его требовательности. Некоторые он даже не записал — одна история мне особенно понравилась и в течение многих лет крутилась в памяти. Однако, когда я как-то напомнил про неё, он оказался с ней совершенно незнаком, он уже совершенно поменялся. Потеря. Напрасно сейчас я копаюсь в сво-

ей потрёпанной памяти, время безвозвратно стёрло ту историю, и я больше не буду пересказывать её своим друзьям, вспоминая о годах, когда всё было по-другому.

На самом деле он никогда толком не помнил ничего, уже записанного, и будто отделённого от него, пусть и имевшего большой и несомненный успех у профессиональных критиков и читателей. Положительная оценка всегда вызывала у него, скорее, недоверие к критериям и сомнения в здравости суждений. Он всё больше и больше заикливался на будущих творениях, но при этом становился всё более сдержанным, ибо был абсолютно бескомпромиссен к своему таланту и всё более и более скептически оценивал свои способности. В то время как графоманы не обращали внимания на неудачи, и продолжали плодить текст за текстом, его несомненный успех не принёс реального удовлетворения и не побудил продолжать. Как будто наоборот — он никогда не возвращался в те области, где уже преуспел. Он опубликовал успешный детектив, но так и не написал второго, он напечатал отличные юмористические рассказы, но больше никогда их не сочинял, даже не записал всё придуманные. Его следующей книгой оказался исторический роман «Честь и слава».

Он стремился не повторяться, не плодить варианты уже написанного, не использовать уже опробованные ходы. Ему было совершенно чуждо писать книги (он не любил записывать), он мог только творить, и за это он испытывал совершенно непонятный стыд — упрямо называл себя ремесленником, подобным простому сапожнику. Ему было стыдно ещё и за коллег-писателей, публично рассуждавших об искусстве и о его творчестве. Хотя он долго, почти мучительно обдумывал каждую книгу, хотя он продумывал каждое предложение и каждое слово и поэтому писал медленно и усердно, он отвергал разговоры о теоретических аспектах своей работы с таким же раздражением, как если бы следователь спрашивал об интимных подробностях его жизни.

Он тщательно скрывал свою частную жизнь (отсюда и необходимость в псевдониме, ибо имя являлось предметом весьма личным) и искренне верил, что ему удалось отдалиться от опубликованных книг. Я никогда не разубеждал его, так

как знал, что он скорее перестанет писать, чем смирится с продажей себя книгами на полках магазинов. Он не продавался! И действительно, он был способен отказываться от любых предложений, предъявлявших малейшие требования не только к его работе, но и к его личности, к его жизни, к его взглядам и чувствам. И наоборот, если он соглашался на работу и за неё платили, то чувствовал своего рода старомодную ответственность, и выполнение принятого обязательства становилось для него в первую очередь делом чести. Поэтому мы предпочли опустить теоретические аспекты писательского ремесла в наших бесконечных беседах (поскольку сапожнику, в конце концов, не грезятся теоретические размышления о пошиве обуви в пабе за кружкой пива).

Но ему нравилось говорить о книгах. Он легко цитировал понравившиеся ему отрывки внушительного объёма, он умел увлекательно рассказать, что побуждает его к размышлениям о людях и их поступках в определённых ситуациях. Ибо темой его творчества и были человеческие поступки в определённых ситуациях. Человечность в повседневной суете и в чрезвычайных обстоятельствах, храбрость и трусость, верность себе и верность присяге, честь и слава... Именно эта тема является наиболее ярким связующим звеном в его, казалось бы, разрозненных и сюжетно непохожих работах. И конечно, его система ценностей, потаённая, никогда не попадавшая в его книги (так он наивно полагал), — отношение к жизни, к миру второй половины двадцатого века, чувство глубокое протеста, поиск и не нахождение смысла. Ему нравилось рассказывать истории из прошлого, где ему не приходилось жить, ему нравилось говорить о местах, где ему не приходилось бывать, о людях, с кем ему не приходилось делить общее пространство («Я всё ещё не могу поверить, что кто-то может быть злым, и я думаю, что трёхногие утки встречаются чаще...»), несомненно, мир был бы прекрасен, если бы не он и все остальные, что с нелепым упорством пытаются реализовать своё представление о счастье без малейшей надежды на успех. Счастлив ли дурак, когда в своём воображении он наконец стал Наполеоном? Я не знаю, говорили ли мы когда-нибудь об этом, ибо прошло так много лет с

тех пор, как мы разговаривали в последний раз. Но это неважно, ибо это всего лишь фрагмент наших долгих абсурдных размышлений, завершившихся выводом: «Всё в мире гарантированно бессмысленно, и никак иначе».

А оттуда всего один шаг до сонета Шекспира, что он прочитал мне однажды и вновь напомнил в письме годы спустя:

*Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью сльвёт,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.*

*Всё мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!⁴*

Его мысли всегда пребывали в установленном порядке, неизменным в течение всего времени, и жизнь снова и снова им поверялась. Он всегда знал, что было противно его сути, во всех жизненных ситуациях, абсолютно однозначно, и я не помню, чтобы он хоть когда-нибудь отступил. Но я также не помню, чтобы он когда-либо действительно желал чего-то, кроме любви и дружбы. И уж конечно, не успеха, славы и богатства. К этим искушениям, возможно, управляющим миром, он был совершенно невосприимчив. Как и к накопительству. Конечно, он радовался, как ребёнок, когда привозил домой в Збраслав на автобусе два старых стула эпохи Возрождения, купленные на базаре у господина Субботника за не-

⁴ Сонет № 66. Перевод С. Маршака.

большие деньги (было дело!), или когда показывал мне красивые напольные часы с музыкальным автоматом, приобретённые уж не знаю где, ибо любил он антиквариат с давних времён, намного, намного раньше, чем тот стал модой для снобов и магнитом для негодяев. Однако, как только он видел, что мне что-то понравилось, он тут же был готов этим поделиться, и хотя у него никогда не выходило с подарками, даже когда он неуклюже пытался представить дело, как крайне выгодное для себя и невыгодное для меня, он всегда вёл себя как щедрый любовник. Он ни за что не цеплялся, он был готов всё отдать, уйти — и в конце концов бросил всё с лёгкостью, долгое время непонятной мне. Ведь с некоторыми предметами антиквариата из его дома в Збраславе были связаны целые истории, часто общие для нас обоих, составлявшие неотъемлемую часть его жизни. Он просто оставил их, он даже никогда не упоминал о них в своих письмах — как будто их не было, как будто никогда не было этих бесконечных разговоров о них, радости их близости...

Конечно, я должен был понять, я мог бы, по крайней мере, подумать, почему его так мало заботило самое необходимое. Как часто я слышал от него немецкую поговорку: «Спать хорошо, умереть лучше, а самое прекрасное — вообще не родиться».

В ночь на 30 июня 1984 года Павел Букса решил выспаться получше.

Июль 1984 года

Zdeněk Pochop. Vzpomínka na závěr, 1984

Перевод: А. Ланудев

Содержание

Сильная личность	3
Как Прыщику счастье привалило	21
Мёртвая кошка	39
Чрезвычайное происшествие	61
Домовой мостильщика Гоуски	68
Баллада о Чердачнике	83
Кокеш	101
Шаг в сторону	119
<i>Вспоминки напоследок</i>	252